С. Антонов

ПРАОТЦЫ НАШИ И СТАРШИЕ

С. АНТОНОВ ПРАОТЦЫ НАШИ И СТАРШИЕ



С. Антонов



Рассказы и заметки
о памятных местах, о книгах,
об автографах и о людях,
которые заслуживают того,
чтобы о них помнили



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1988

ББК 84Р7
А 72

А $\frac{4701020100-050}{078(02)-88}$ 162—88

ISBN 5-235-00102-8

Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность
от дикости...

А. С. Пушкин

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Эту книгу автор не увидит — он ушел из жизни в октябре 1985 года.

Сергей Федорович Антонов родился 16 августа 1917 года в селе Мокрое Калужской области. Дед его, Григорий Иванович, сын безземельного крестьянина, сначала работал слесарем на Бежицком паровозостроительном заводе, потом вернулся в родное село. Человек незаурядный, окончивший всего лишь церковноприходскую школу, один из тех крестьян-самородков, которые всегда определяли на Руси нравственный облик деревни, он пользовался в селе большим уважением и еще в конце прошлого века многое сделал для преобразования жизни сельчан. Он много читал, собрал большую библиотеку. Его сын, отец Сергея Федоровича, окончив школу и получив звание учителя грамоты, был служащим созданного в селе кооперативного товарищества. Он тоже был книгочеем, знал много песен, стихов, пробовал сочинять сам.

Детство в Мокром, вся атмосфера отчего дома наложили глубокий отпечаток на всю жизнь Сергея Антонова, на весь его нравственный облик. В своей автобиографии он писал: «Если есть во мне хоть капля обостренного чувства Родины, то этим чувством я обязан во многом родному селу, его природе, людям».

Среднюю школу Сергей Федорович окончил в Карачеве, куда переехала из села его семья. Он рано научился читать и читал запоем, выписывая многие книги из Москвы. Впоследствии, через много лет, в письме к Л. Пантелееву, одному из авторов знаменитой «Республики ШКИД», С. Ф. Антонов вспоминал: «Вы даже представить себе не можете, сколько радости принесла «Республика ШКИД» мне, тогда еще школьнику, жившему в 50 километрах от «настоящей» дороги... Выписал книгу я сам по объявлению в газете или журнале, конечно, без переплета: в переплете дорого, да и отец учил меня переплетать книги самому. Ни «Хижина дяди Тома», ни «Робинзон» не произвели на меня такого сильного впечатления».

В 1937 году Сергей Федорович поступил на литературный факультет Московского государственного педагогического института (ныне имени Ленина), но вскоре понял, что не педагогика его призвание, и когда в 1939 году был объявлен набор в только что организованный ВГИК, поступил на сценарный факультет. Учение во ВГИКе прервала война. Вместе с товарищами и преподавателями он вступил добровольцем в народное ополчение Ростокинского района Москвы. Был рядовым минометного взвода.

После окончания института работал в ЦК ВЛКСМ инструктором по вопросам кино. В эти годы началась активная творческая деятельность — он писал пьесы, статьи, сценарии, рассказы. Много лет — с 1947 по 1963 годы — Сергей Федорович работал главным редактором сценарного отдела, членом редакционно-сценарной коллегии Главного управления по производству художественных фильмов Государственного комитета по кинематографии. Все, кто работал с ним тогда, вспоминают, что его доброжелательность, прин-

ципиальность, интеллигентность, взвешенность собственных оценок при обсуждении сценариев и кинофильмов вызывали не только ответное уважение и доброжелательность авторов и режиссеров, но и накладывали несомненный отпечаток на весь стиль работы тогдашней главной редакции.

В своих книгах, пьесах, сценариях Сергей Федорович прежде всего задумывался над характерами людей чистого нравственного облика, твердой гражданственной позиции. Печататься он начал в 1943 году в газете «Раздавим фашистскую гадину», которая издавалась тогда главным образом для партизан, сражавшихся в глубоком тылу немецко-фашистских войск. В этой газете С. Антонов регулярно публиковал фельетоны и короткие рассказы. Поездки по только что освобожденным городам, встречи с подпольщиками и партизанами на военных дорогах дали ему тот материал, который лег в основу его первой пьесы «Наша молодость». Пьеса сразу же была поставлена несколькими театрами страны и вызвала широкий зрительский интерес.

С. Ф. Антонов написал много книг, более 20, среди них — несколько книг для детей, но, несомненно, главной в его творческой деятельности была ленинская тема. Тщательно, пытливо долгие годы он изучал, исследовал жизнь человека, наложившего отпечаток своей великой личности на всю современную эпоху, ставшего вождем нового мира. Книги С. Антонова о В. И. Ленине — это своеобразная Лениниана, воссоздающая образ Ильича во многих подробностях, мало знакомых широкому читателю. В книгах С. Антонова Ленин — вождь, но и простой человек, такой же, какими были и те, ради счастья которых он жил, боролся и умер.

Ленинская тема увлекла Сергея Федоровича давно. Еще в 1941 году он стал собирать материалы для будущих произведений (на рукописи рассказа «Мост» стоит дата его завершения: 1 мая 1942 года, 2 часа ночи), но они увидят свет только в середине пятидесятых годов. Многие рассказы С. Антонова о Ленине были переведены на иностранные языки, на языки народов СССР, инсценированы, передавались по радио у нас и за рубежом, записаны фирмой «Мелодия» на пластинку, по ним снято несколько телефильмов.

В начале семидесятых годов Сергей Федорович тяжело заболел, перенес инсульт, несколько инфарктов сердца. Болезни уложили его в постель, на многие годы приковали к дому. Но и больной он продолжал работать, написал повесть о сельском враче, опубликовал несколько циклов рассказов и очерков в журнале «Октябрь», завершил пьесу о любимом своем поэте С. Есенине, изучением творчества которого и собиранием книг о поэте занимался всю жизнь. Его библиотека о Есенине — уникальное собрание библиографических редкостей.

Буквально за два дня до кончины он получил из военного издательства даже не сигнальный, а специально для него сброшюрованный и переплетенный экземпляр своего романа «Под небом Родины» — о жизни в маленьком русском городке в первые месяцы после освобождения от фашистской оккупации.

«Если есть во мне хоть капля обостренного чувства Родины...» — эти слова, написанные С. Ф. Антоновым в автобиографии, в самом высоком смысле определили его жизнь и творчество. Что бы он ни делал, во всем ощущалось именно это — обостренное чувство родной страны, ее деяний, ее забот и радостей. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, много путешествовал с неизменным

фотоаппаратом. А когда ездить уже не мог, ходил по близлежащим улочкам и переулкам и там тоже делал свои маленькие открытия. Так постепенно рождалась эта книга.

Что было главное в нем? Какая определяющая черта? Жизнерадостность, скромность, терпение, душевная стойкость, нежелание — или, точнее, просто неумение — докучать другим своими заботами, своими болезнями. Что главным было? Оптимизм, пытливость ума, ироничность к себе и редкая в нынешние времена деликатность по отношению к другим. Что было главным?

Впрочем, как можно выделить какую-то определенную черту в богатом, сложном характере этого человека? По свойствам души, по складу характера и ума Сергей Федорович был во всем глубоко интеллигентным, порядочным человеком, лишенным того, что так часто встречается ныне во многих людях — зависти, корысти, суетности. В нем было нечто вечное, далекое от ежедневной рутины, он болел многие годы, но существо его было полно иными заботами, не созерцанием своих страданий, а углубленным, жадным познанием жизни. О своих страданиях он не любил говорить, даже внешне стараясь не показать признаков поразившего его недуга.

Сильнее личной боли жила в нем другая боль. Боль о потере людьми памяти к своим собственным истокам: забывались имена людей, послуживших Отчизне самоотверженным трудом, уничтожались памятники истории Родины, Москвы, сносились уникальные здания, хранившие дыхание знаменитых предков, свидетели исторических событий прошлого России.

В книге, которую держит сейчас в руках читатель, нельзя не почувствовать эту боль, это обостренное чувство Родины писателя, торопившегося выразить свою тревогу, восстановить истину, вспомнить то, что не должно быть забыто. И несомненно, читатель ощутит высокий моральный облик самого автора, ушедшего из жизни с предостережением, что забвение прошлого — есть неуважение к настоящему и разрушение нравственности будущего.

Н. ЕВДОКИМОВ

По зову сердца...

ДОЛГ ПАМЯТИ

В октябре 1943 года я приехал в командировку в недавно освобожденный город Карачев, где жил несколько лет до войны. Я знал его уютным и зеленым, а сейчас видел даже не мертвым, видел пустыню на месте, где много веков стоял древний русский город: в истории упоминается раньше Москвы. Немецкие фашисты стерли его с лица земли. Но, может, я сужу пристрастно? Нет. В корреспонденциях наших военных писателей, людей как бы сторонних, много повидавших, отмечалось, что Карачев производил страшное впечатление, и в слове «стерли» нет преувеличения.

Так, Константин Симонов в статье о Федине «Стоя перед Вами...» вспоминает, обращаясь к юбиляру:

«Мы останавливаемся на окраине взорванного и дотла сожженного немцами Карачева <...> города, в сущности, нет, он виден насквозь: только трубы и холмы кирпичей, между которыми уходит вдаль фронтовая дорога. Вы очень долго и молча смотрите на все это. И может быть, я ошибаюсь, но, судя по выражению Вашего лица, именно в эти минуты, не умом — умом Вы поняли это давно, — а всеми своими чувствами, всем своим существом до конца осознаете для себя, на что оказались способны немцы и до какого предела падения и варварства дошли они, руководимые Адольфом Гитлером. Те самые немцы, которых Вы знали еще до первой мировой войны, отныне, после Карачева, даже в самом дальнем уголке Вашего сердца перестали быть ТЕМИ САМЫМИ немцами.

Вы сами попросили остановиться здесь, но вы же первый, после долгого мучительного молчания, просите ехать дальше».

Да, Карачев осени 1943 года без преувеличения мог перевернуть душу. И недаром перед въездом в город со стороны Орла стоял столб с надписью: «Боец! Это — город Карачев. Запомни и отомсти!» Эти строчки просятся в стихи, в текст клятвы. Слово «город» в сопоставлении с пустыней за столбом — и предельно выразительно, и страшно.

Много пережил город за свою историю: в 1611 году пан Запоройский выжег его, жителей частью перебил

частью увел в плен. В 1614 году пан Лисовский, боясь быть осажденным войсками Дмитрия Пожарского, сжег Карачев. Еще позже половина жителей города вымерла от чумы, потом его окрестности испытали набеги крымских татар... Мне и страницы не хватит, чтобы полностью перечислить разоры, пожары, набеги — все те беды, которые перенес Карачев за века своего существования. Доставалось ему от многих и много. Но такого еще не было...

Кирпичи... Зола... Со всех сторон распахнут горизонт... Карачев стал просто географическим понятием, названием на карте.

Огонь и взрывчатка вместе с тем сделали свое дело: четче обрисовались контуры земляных укреплений, которые называют Крымским валом, видимо, потому, что сооружены в те далекие времена, когда Карачев подвергался набегам крымских татар. О размерах оборонительных сооружений, их системе не ведали и специалисты. Теперь так неожиданно открытое можно было не только обозреть, но при желании и исследовать. Шире разверзлась дыра-ход в подпол древней церкви, которая стояла в городском саду и была снесена еще до войны. В юности я слышал полулегенды-полубыли о том, что черная дыра эта не что иное, как лаз, по которому можно пробраться в подземный ход, соединявший церковь, стоявшую здесь, с монастырем-крепостью в селе Бережке по ту сторону реки Снежеть. Не будет ничего невероятного, если ученые подтвердят эту легенду: многие древние города имели подземные выходы через реку, чтобы при осаде можно было пополнить запасы воды и пищи, боеприпасов и собственно живой силы.

И еще одному способствовали пожар и взрывчатка. Когда начали рыть первые землянки, строить первые бараки и самые что ни на есть необходимые сооружения, сколько и каких монет было найдено в древней земле! Не только первых русских рублей и копеек, но и иностранных, до сих пор не виданных местными нумизматами серебряных и медных кружочков! Откуда они?

Так невольно пробуждался интерес к истории родного города. О многих славных ее страницах я узнал, когда прежнего города уже не было... Вот ведь как...

Бывал, оказывается, в Карачеве Петр I, бывал Иван Сергеевич Тургенев, жил в доме на улице, впоследствии названной его именем. Больной Денис Иванович Фон-

визин на пути из Москвы в Вену останавливался в Карачеве. Это было так давно, что кажется полулегендарным... Но Денис Иванович ходил по городу, смотрел на речку Снежеть...

В дневник — июнь 1786 года — Фонвизин заносит:

«20. Из Болхова выехали в семь часов поутру; обедали в селе Глотове, что могла приготовить Теодора. Ночевать приехали в Карачев и стали у купца Масленикова. Он имеет на глазу шишку с кулак...

21. Отправил в Москву почту. Брился у пьяного солдата, который содрал было с меня кожу. Великая беда, кто сам в дороге бриться не умеет! Обедали в Карачеве; выехали из него в семь часов вечера и всю ночь ехали».

Комедиограф верен себе: и смешно и грустно... Купец Масленикoв с шишкой на глазу, пьяный солдат-парикмахер... Неужели все это было здесь, где сейчас лишь трубы печей и кирпичи, да дымки из-под земли? Но вот я встретился со своим старым учителем физики Иваном Ивановичем Золотаревым, и он, когда мы заговорили о Фонвизине, сказал:

— Маслениковых в Карачеве было много... Но самые богатые жили вот там... — Он показал в сторону Дзержинской улицы. — Наверное, у них и останавливался Фонвизин.

Вот вам и давно прошедшие времена!

Стоя на ветру и видя со всех сторон горизонт, я начинаю понимать, почему так старались варвары двадцатого века. Дело, конечно, не только в том, чтобы уничтожить материальные ценности, дело и в другом, более важном: выжечь у людей память о прошлом: о Пушкине и Толстом, о Кутузове и Суворове, о Радищеве и декабристах, вообще о великом прошлом Родины... Если бы это удалось — удалось бы и покорить народ. И не было бы России... Ибо духовное богатство человека находится в прямой зависимости от того, сколько нитей связывает его с культурой прошлого и настоящего...

Почти четверть века спустя я снова оказался в Карачеве с командировкой от газеты «Известия». Город, о темпах восстановления которого мне пришлось написать и тревожные слова, поразил меня, если можно так сказать, ростом нашей памяти. Мы многое вдруг припомнили, оценили по-настоящему.

Работники местной газеты возили меня не только по

новостройкам — это дело привычное! — но и показывали Крымский вал, который, как доказал один из краеведов, оказался на сотню лет старше, чем это считалось до тех пор. Возили на Бережок показать церковь и гордились ею так, будто сами возвели. Когда-то там стояла Тихонова Воскресенская пустынь, основанная в XVI веке, от тех далеких времен осталась вот эта высокая и непростая церковь. К колокольне прилеплена, как считалось, келья, в которой будто бы жил преподобный Тихон. А по внимательном рассмотрении келья оказалась просто сторожевой будкой...

Казалось бы, чем дальше отодвигается от нас прошлое, тем менее интересным и дорогим оно должно становиться. Но происходит обратное. Оно становится нам все дороже. В нем мы ищем свои истоки. Тяжелые испытания, принесенные войной, всколыхнули народную память, обострили самосознание. Всюду. И в Карачеве — тоже. Карачевцы захотели увидеть родной город со своим неповторимым лицом, со своей историей. И за дело взялись энтузиасты.

Директор школы имени М. Горького Лев Дмитриевич Передельский создал краеведческий музей. Создать музей в сожженном дотла городе многим казалось несбыточной мечтой: откуда брать экспонаты? Ведь все уничтожено! И тем не менее в музее можно увидеть большие редкости. Вот, например, медаль с изображением Ленина и надписью: «Да здравствует свобода великого трудового народа!» И еще одна надпись: «25 октября 1917 года». Как она сохранилась? Кто-то из ребят принес первую красноармейскую звездочку, она и похожа и не похожа на современную. Неизвестно, кто носил ее, но ясно, что в рядах тех, кто защищал революцию, были и карачевцы.

Лев Дмитриевич Передельский написал и небольшую книгу «Карачев. Историко-экономический очерк». Там, в описании первомайского праздника, я обнаружил и цитату из газеты «Известия Брянского губернского исполнительного комитета Советов рабочих и крестьянских депутатов» (№ 90 от 4 мая 1920 г.): «Во время митинга под звуки «Интернационала» вручен орден Красного Знамени герою-карачевцу Фокину». Имя и отчество не указаны... Как это ни странно, их могу назвать я: Михаил Тимофеевич. Он мой дальний родственник по матери, уроженки села Ружного, что неподалеку от Карачева. А от Ружного рукой подать до села

Опочки, места рождения Фокина. На фотографии, сохранившейся в нашем семейном архиве, он снят с родственниками и боевыми товарищами. Рука на перевязи, кисть — в перчатке; на гимнастерке — орден Красного Знамени. Редкая в те годы награда. Кроме ордена, Фокин был награжден именным оружием и удостоен приставки к фамилии — Уральский, в честь выигранных им боевых операций на Урале. Фокин-Уральский. На обороте фотографии — фамилии запечатленных, дарственная надпись и дата: «9/VI 1920 года. Карачев».

За линией железной дороги живет молодой рабочий одного из новых заводов Карачева Геннадий Тучков. Долгое время я просидел у него за столом, рассматривая фотографии и бумаги из многочисленных папок. Все свободное время Геннадий отдает розыску документов и материалов, связанных с освобождением города, установлению имен героев подполья и партизан, их биографий.

Ну, герои подполья, партизаны — это понятно. Но зачем старому учителю-пенсионеру Звереву биться за восстановление доброго имени режиссера Евтихия Павловича Карпова, провалившего, как известно, чеховскую «Чайку»?

Оказывается, надо. Необходимо. Карпов — из Карачева.

Дом Зверева можно найти, как мне любезно указали, на «третьем квартале от церкви, на месте дома Нехаевых». Пока найдешь эту церковь, от которой мало что осталось, отсчитаешь три квартала, можно о многом поразмыслить и многое вспомнить.

Итак, первое представление «Чайки», по словам самого Чехова, «имело громадный неуспех». Провал пьесы дорого стоил Антону Павловичу, черной тенью пал на имя постановщика. Евтихий Карпов был зачислен в рутинеры. Если не ошибаюсь, с такой аттестацией он и перешел в мир иной. Старый учитель собрал о своем земляке материалы и решил если не реабилитировать его, то хотя бы проверить, насколько верен приговор истории.

Действительно, в биографии и творческой деятельности Карпова можно найти, оказывается, и совершенно на первый взгляд неожиданное. Был близок народническому движению, его дважды арестовывали и ссылали. Первая драма «Тяжкая доля» написана в тюрьме. О «Зареве», другой пьесе Карпова, сказано, что автор

не скупится на такие эффекты, как шум манифестантов, забастовщиков, выкрики: «Наших бьют!», «Казаки!» и пр.

Старый учитель написал письмо Владимиру Ивановичу Честнокову, известному театральному деятелю, одному из создателей образа Ленина на сцене и на киноэкране. Народному артисту СССР. Нет ли в приговоре истории передержек?

Народный артист ответил скромному учителю подробнейшим и учтивым письмом, проникнутым большим уважением и к Карпову, и к человеку, который поднял голос в его защиту. Владимир Иванович целиком поддерживает необходимость пересмотреть наше отношение к Карпову. Задача не из легких. Я не знаю, чем кончилось дело, но важно другое: борьба за истину, разговор, казалось бы, не о самом насущном — «Чайке» и Карпове — возник на земле, где по замыслу врага должны были бродить одичавшие люди. А тут — один борется за честь Карпова, другой по крупицам собирает сведения об истории города, третий определяет возраст земляных валов — остатков древнего кремля...

Что руководило ими? Долг. Долг памяти.

Долг памяти побудил и меня взяться за эту книгу, и именно эта тема объединяет мои пестрые на первый взгляд рассказы. То, что я предлагаю вниманию читателя в настоящем сборнике, — отнюдь не литературоведческие исследования, не научные изыскания, а мои личные встречи с людьми и заинтересовавшими меня фактами. Толчком к написанию того или иного рассказа послужили иногда поездки в памятные места, иногда — всего лишь автограф писателя на книге или несколько строк в книге или газете, иногда — встреча с интересным человеком. Личная встреча может состояться даже тогда, когда человек давно уже умер, но ты вдруг открываешь его для себя в книге, в поступке, и спешишь поделиться с другими радостью открытия.

Не все имена, которые встретятся в этом сборнике, принадлежат корифеям русской культуры и широко известны. Однако то, что порою представляется нам справедливо забытым, ненужным, оказывается вдруг интересным и небесполезным.

Быть может, не так уж много добавлю я к известному, но если и другие расскажут страничку-другую из великой истории нашей культуры — о писателе или книге, о человеке, оставившем светлый след на Зем-

ле, — сообща будет добыто немало интересного, что по небрежению нашему пока еще является достоянием немногих, разбросано по редким книгам и журналам, по частным архивам. Мы должны не только дорожить нашей культурой, не только стараться по крупицам восстанавливать ее историю, но, к сожалению, и бороться с теми людьми «без роду и племени», которые до сих пор бездумно и безжалостно уничтожают памятники старины, наши с вами истоки.

Если представить себе историю нашей богатейшей культуры в виде книги, то можно сказать, что книга эта существует в одном-единственном экземпляре. И вот один невежда вырвал из нее страницу, другой — сразу три, пятый — десять... Что осталось бы от нее, если бы большинство людей не понимало: с каждым исчезновением исторического или архитектурного памятника, мемориального дома или парка, древней рукописи или первопечатной книги из истории культуры народа навсегда вычеркиваются славные страницы и все мы становимся духовно беднее.

Только у животных нет памяти, да и то, думаю, у низших, а человек — если он достоин этого звания — живет и прошлым. Мы не случайные люди на своей земле, не случайны достижения нашей культуры, немало повлиявшей на мировую, у нас славная многовековая история, и отвечать за будущее перед нею нам. Больше некому.

НЕСТОР-ЛЕТОПИСЕЦ

Кому из любителей отечественной литературы и истории не хотелось бы побывать, допустим, в доме, где родился и жил Михайло Ломоносов? А в жилище автора «Слова о полку Игореве»?

Дом Ломоносова мог бы сохраниться, ну а все, что связано с гениальным человеком, написавшим «Слово»? «Эка, загнул!» — не без веских оснований скажут мне. Мы даже не знаем его имени, не имеем представления о том, где он жил, не можем воссоздать облик творца «Слова».

В самом деле, «Слово», как полагают ученые, написано в 1187 году, в конце двенадцатого века, скрытого от нас таким туманом времени, который не рассеют никакие достижения науки и техники. Столько всего было на нашей многострадальной земле: истребительные войны, набеги, пожары... Нужно было бы считать чудом, если б сохранилось что-то существенное, приоткрывающее тайну легендарного поэта двенадцатого века.

Однако к другому писателю, творившему ранее автора «Слова», как ни странно, в этом отношении судьба оказалась более милостивой, и мы не только не удивляемся, но и не отдаем себе отчета, не осознаем, как должно, что это действительно одно из чудес. В Киево-Печерской лавре сохранилась пещера, где жил Нестор — «древнейший летописец русский», как называют его не только в преданиях. Известный советский историк академик Б. Д. Греков оценивает труд Нестора — «Повесть временных лет» — как первую русскую историческую книгу, а самого Нестора считает «крупнейшим из литературных талантов, каким только располагал монастырь».

Раз десять побывал я в Киеве, и каждый раз трудно передаваемое радостное чувство, которое, наверное, можно назвать чувством Родины, приводило меня на крутые берега Днепра. Под ними крестили Русь, здесь памятник Владимиру, Киево-Печерский монастырь, Вечный огонь славы павшим в Отечественную войну.

Бродя возле монастыря по откосам с извилистыми стежками, глубокими, заросшими кустарником оврагами, не так уж трудно представить себе начало начал.

Не было стен, башен, церквей и часовенок... Днепр, небо, вот эти зеленые берега с такой же травой, цветами, кустарником и деревьями, которые покрывают их и сейчас. Впрочем, деревьев тогда было, конечно, значительно больше... В 1072 году приходит Нестор на этот берег, в монастырь, устраивает себе жилище-пещеру и поселяется в ней. И было ему тогда семнадцать...

Пещера или печера... У многих это слово ассоциируется с запахом свечей и ладана, с монашеским уединением. Однако как далек от этого подлинный его смысл. В замечательном очерке Ефима Дороша «Загорск» я наткнулся на абзац, который очень обрадовал меня:

«Мне пришло вдруг на мысль, что «пещера», в которой жил Кирилл или Нил Сорский, постриженник Кириллова монастыря, основавший неподалеку первый в России отшельнический скит, — что пещера эта есть не что иное, как извечная землянка русского устроителя земли, в какой он обитал и при Владимире Мономахе, когда на месте мирянского поселения строил крепость в Суздале, и восемьсот лет спустя, когда обживал Магнитную гору».

А ведь и правда во множестве видел землянки и я сам, землянки, вырытые людьми, которые вернулись на родные пепелища после изгнания оттуда фашистов. Некоторые из землянок на склоне, обращенном к реке, были подлинными пещерами. Надо было жить и осваивать когда-то освоенную землю заново.

Землянки рыли и первые строители Комсомольска.

Я видел землянку, и не так уж давно, под Москвой, но никому и в голову не приходило назвать ее устроителя монахом-отшельником: просто старый фронтовик осваивал дачный участок, кусочек густого, дикого леса и со знанием дела соорудил себе землянку...

Сейчас пещеры Киево-Печерской лавры освещены электрическими лампочками. С ними, конечно, удобнее, и при их холодном, металлическом свете вроде бы и больше увидишь. Но при теплом и неярком свете свечей, с которыми ходили экскурсанты раньше, больше прочувствуешь и поймешь. Я не проводил бы сюда электрического света, как не освещал бы некоторые мемориальные музеи XIX века люминесцентными лампами, годными разве что для парикмахерских и ателье мод и сразу уничтожающими тщательно воссоздаваемую атмосферу прошлого.

Пещера Нестора — одна из самых ранних и примечательных в древнем Киеве. Вот здесь, в этой небольшой пещере, через которую прошли тысячи и тысячи почитателей старины, патриотов со всей России, жил тот, кому мы обязаны появлением столь драгоценного для потомства труда. У труда пространное название, как и полагалось в ту пору... Впрочем, почему же «полагалось»? Было ли с кого брать пример? Так или иначе пространное название дает довольно точное представление о некоторых сторонах произведения: «Повесть временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Русская земля стала есть». Какие слова! «Откуда Русская земля стала есть»! Не будем забывать, однако, что некоторые изменения могли быть сделаны позднее: в первоначальном своем виде летопись Нестора до нас не дошла. Редакция могла коснуться и названия.

Монастырский скит не в лесу, не в «пустыне», а под землей... Что давало силы духовным подвижникам жить в условиях, почти равных условиям каменного века?

Пещера со временем становилась и склепом: в келье Нестора можно увидеть и его мощи.

Уже стояла церковь Софийская, невиданное чудо и труженица из тружениц. Здесь были книги и составлялся летописный свод, пожалуй, один из первых или просто первый. Разрозненные факты исторических событий систематизировались, осмыслялись, впервые можно было взглянуть на них в целом. Автор или авторы свода — первые, кто объял мысленным взором не группу событий, мало чем связанных между собой, а неумолимый ход истории. Она теперь как бы проходила на их глазах. Вот так, так, так...

Совсем неподалеку от пещер эта церковь, всего в нескольких верстах... По тропинке, вряд ли еще дороге, в густом, дремучем лесу, с палкой в руке — единственным своим оружием — брел Нестор во град Киев, в церковь Софийскую. Бывал на заутрене и на вечерне, ходил в храм, когда в его прохладном сумраке угадывалось всего лишь несколько рабов божиих...

Перекрестившись на икону у Лядских ворот, одних из шести в крепостной стене, Нестор проходил их сень и оказывался во граде Киеве. Тут не то что в лесу на откосах Днепра: понастроены избы, шумит люд, стучат топоры, звенит железо в кузнях... Сколько ни прохо-

дил — всегда стучали топоры, бухали молоты: что-нибудь да строили.

Оставив палку у входа, снова перекрестившись, вступал Нестор под своды дивной Софии. Поражала сила фресок и мозаик. История богоматери... История Христа...

Но были и другие фрески. Изнутри церкви к ним хода нет. А если пройти в башни снаружи, подняться по лестнице на второй ярус, увидишь яркую фресковую роспись. Увидишь и невольно остановишься. Скоморохи играют на свирелях и танцуют так, что у самого ноги начинают ходить. Какие на них рубахи! Длинные, разноцветные, с обшивкой по вороту и рукавам... А вот схватка с медведем. Ехал всадник на белом коне, и вдруг на него набросился медведь. Однако человек не растерялся. На лице его спокойствие и уверенность. Схватил медведя за морду, бьет копьем — в грудь.

И еще фреска: на тарпанов, диких лошадей, напустили пардусов, диких кошек, и травят... А вот повторение знакомого мотива: ехал всадник на белом коне, а на него напал серый волк. Всадник в зеленой рубахе полуобернулся и — копьем в злого волка!

А вот человек ведет верблюда... Дикий осел во всей своей красе... Вот ряженые борются... Акробат влезает на шест... Ну и церковь, ну и богомаз!

...Все развивается, расцветает и гибнет. Вознесенный на вершину мировой культуры прогрессивными для своего времени идеями, монастырь потерял свое значение, его идеология отмерла. Когда-то первый по величине культурный центр, светоч идей, распространитель книжности с течением столетий превратился в свою противоположность. Но то, что дали первые подвижники монастыря, не может умереть.

Почти все русские летописные своды берут за основу труд Нестора. Академик Греков писал: «...Автор «Слова о полку Игореве» нас просто удивляет не только широтой своих исторических познаний, но и глубиной понимания исторических событий <...>. Откуда эта осведомленность? Ответить нетрудно: источник <...> знаний — «Повесть временных лет...»

Далекий от нас Нестор!

Может показаться, что только ученые и учащиеся высших учебных заведений гуманитарного профиля знакомы с его писаниями. Однако это далеко не так.

Тот, кто никогда не читал Нестора, и даже тот, кто

не подозревает о его существовании, — и те все же знакомы с его произведениями, а подчас и знают его подлинные слова.

Вспомните «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. А теперь прочтите отрывок из Несторовой летописи и проследите, насколько точно поэт следовал летописцу — и в сюжете, и в отдельных выражениях:

«И зажил Олег в мире со всеми странами, княжа в Киеве. И наступила осень, и вспомнил Олег коня своего, которого поставил кормить на покое и на которого не садился. Ибо прежде спрашивал он волхвов-кудесников: «От чего предстоит мне умереть?» И сказал ему один кудесник: «Князь! Ты умрешь от того самого коня, которого ты любишь и на котором ездишь». Олег же подумал и сказал: «Никогда не сяду на коня того, и даже не увижу его более, — и велел кормить его, и не водить к себе, и несколько лет так прошло; между тем он и на греков ходил, и в Киев вернулся, и оставался там четыре года; на пятый вспомнил он о коне своем, от которого, по словам волхвов, надлежало умереть Олегу, и призвал старшего над конюхами, говоря: «Где конь мой, которого я поставил кормить и беречь?» Тот сказал: «Он издох». Олег посмеялся и попрекнул кудесника, говоря: «Неправду говорят волхвы, все это ложь; вот и конь издох, а я все жив». И приказал оседлать себе коня: «Дай посмотрю на его кости». И приехал на место, где лежали его обнаженные кости и череп; и слез с коня, посмеялся и сказал: «Уж не от этого ли черепа мне смерть приключится?» — и наступил на череп ногою, и выползла оттуда змея, и ужалила его в ногу, и он, разболевшись от этого, умер. И много оплакивали его все люди, и понесли его и погребли на горе, которая называется Щековицей: могила его видна и поныне и слывет Олеговой могилой».

Хотя мы и знаем со школьной скамьи, что Пушкин для своей «Песни» воспользовался известным летописным сказанием, однако «степень родства» произведения великого поэта и записи инока Нестора можно установить, лишь прочтя ее. Что я и пригласил вас сделать.

А вот Алексей Константинович Толстой. Его «Русскую историю от Гостомысла», или иначе «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева», знают и любят многие. Выдающееся произведение русской сатирической литературы. И очень смелое. Недаром написанное Алексеем Константиновичем в 1868 го-

ду, оно было впервые напечатано лишь в 1883-м, после смерти автора. До тех же пор «История» ходила лишь в многочисленных списках. Но при чем тут «богобоязненный» Нестор-летописец?

При том, что именно он задал весь тон знаменитой сатире. Недаром автор поставил в эпиграфе слова Нестора: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет».

Великолепные и очень смелые слова эти на все лады повторяются неоднократно в стихах сатиры А. К. Толстого. Они, можно сказать, суть его произведения. Животворящий дух старой летописи сказывается и здесь.

А интереснейший русский художник Николай Константинович Рерих? Он тоже вдохновлялся безыскусным творением Нестора. Есть у него полотно «Гонец. Встал род на род» — картина из знаменитой серии «Начало Руси. Славяне». В утлой ладье плывут двое: один сидит, углубленный в тяжелые раздумья, другой стоит, отталкиваясь шестом, но смотрит не в воду, а вдаль... На берегу — красный язычок костра, молоденький месяц вылезает из-за леса... Тревожно, беспокойно! Скорей бы, скорей достичь цели! Живописное полотно это перекликается со словами летописца: «Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам к руси».

А если поискать еще? Наверняка можно найти и другие примеры...

Так становится ощутимой, наглядной вязь времен, событий, имен, а сам «преподобный» Нестор — ближе, роднее, знакомее.

Кто знает, быть может, настанет время, когда мы будем отмечать его юбилей, отдавая таким образом дань уважения не только одному Нестору, но и другим известным и неизвестным летописцам, позволившим нам узнать, «откуда Русская земля стала есть».

А пока хотелось бы, чтобы в многоликом потоке, направляющемся в пещеры, все больше и больше становилось людей, которые знали бы, что побывали в одном из самых древних памятных мест, связанных с жизнью, деятельностью и смертью замечательного человека, вместе с немногими зачинавшего русскую литературу

и русскую историческую науку. Еще в начале XIX века русский историк, немец по происхождению, Шлецер, изучая «Повесть», недоумевал: «Как пришло Нестору на мысль написать временник своей земли и на своем языке? Каким образом этот рус вздумал быть историком своего народа?» А академик Б. Д. Греков, полемизируя со Шлецером, написал: «Нестор не только вздумал стать историком своего народа, но и стал им...»

ПРОГУЛКА ПО СЕЛУ ЛЕОНОВУ

На пути из Москвы в знаменитую Троице-Сергиеву лавру наши предки проезжали села — Алексеевское, Останкино, Ростокино, Леоново, ныне — давно уже — вошедшие в черту города и ставшие далеко не окраинными его районами. В Алексеевском когда-то на горке высился дворец царя Алексея Михайловича, красивая церковь — она стоит до сих пор, а горка над проспектом Мира, где сейчас находится и школа имени Твардовского, и Финансовый институт, до сих пор именуется в округе Церковной горкой. На спуске к засыпанной уже речке еще недавно лепились домики с садами и огородами — последние остатки старинного села. Не так давно исчезло и прежнее Останкино, но и оно на памяти многих москвичей. Каким было Ростокино, сейчас и вообразить себе трудно: его целиком поглотили Северный вход ВДНХ, киностудия имени Горького, ИМЭЛ.

Леоново стояло чуть дальше, за Яузой, отгороженное от Ростокина мутной рекой и довольно широкой ее поймой. Еще двадцать лет назад оно пребывало чуть ли не в первозданном виде. С противоположного берега хорошо видна была небольшая церковь (охраняемая государством), сквозь зелень проглядывали крыши одноэтажных домиков...

В те годы я жил неподалеку от Леонова, рядом с киностудией имени Горького. И вот однажды решил прогуляться на другой берег, посмотреть поближе и село и церковь.

Улочки, поросшие травой, сады, огороды... Кажется, что ты не в Москве, а в деревне. Зеленый островок старого Подмосковья, за которым высились кварталы многоэтажных домов Свиблова... И вдруг — большой липовый парк с аллеями, в который, правда, кое-где тоже

уже вторглись жилые постройки. А ведь липовый парк с аллеями — верный признак старого дворянского гнезда, усадьбы. Сам барский дом не сохранился, но на перекрестке аллей я нашел заросший травой прямоугольник старого фундамента. Дом, судя по нему, был не маленький.

Впоследствии я не раз гулял по Леонову, по его величественным, прохладным даже в жару аллеям, представлял себе, как все здесь было раньше. Как выглядел дом? Наверное, с колоннами, с террасой, с высокой застекленной двухстворчатой дверью посередине... К подъезду подкатывали коляски, шумели балы... Вот эти огромные старые липы слышали и шепот влюбленных, и музыку, и звон колокольцев, слышали французскую и русскую речь гулявших по парку гостей и хозяев...

Все прошло... А липы шумят тихо, как и прежде... Откуда-то вдруг послышится голос бабушки: «Ирочка... Ирочка...» — и снова все стихнет. Редкий человек пройдет здесь...

Так чья же это была усадьба? Я спросил об этом пожилую женщину, бабушку Ирочки.

— Не знаю, — ответила она. — Я тут недавно. Говорят, какие-то богатеи жили...

Не сразу дождался другого прохожего.

— Не знаю... — Мужчина пожал плечами. Да и неинтересно ему было: мало ли живет на свете людей? Мало ли было помещиков?

«Не знаю...»

Чем больше ходил я по обширному парку, тем сильнее хотелось мне получить ответ на свой вопрос. И я обратился к верным своим друзьям — к книгам. Ни слова о том, знаменито ли чем-нибудь Леоново, кому оно принадлежало, не нашел я ни в книге «Памятные места Московской области», ни в других подобных справочных изданиях нашего времени, а их у меня немало. Но вот в книге, составленной П. Канчаловским «От Москвы до Архангельска» с разъясняющим подзаголовком «Описание всех мест, лежащих на пути дороги и в ее окрестностях и имеющих историческое или промышленное значение», мне попались такие строчки: «Леоново замечательно тем, что когда-то оно принадлежало людям, оказавшим большие услуги русскому просвещению. Сперва оно находилось во владении известного Новикова, который служил в военной службе, но потом, выйдя в

отставку, открыл большую типографию и начал заниматься изданиями книг, знакомя русскую публику с классическими европейскими произведениями; затем он издавал журнал «Живописец», а потом по доносам был заподозрен в распространении вредных идей и заточен в крепость...»

Да это же об известнейшем нашем просветителе и книгоиздателе Николае Ивановиче Новикове, о котором А. Герцен писал в 1868 году в «Колоколе», что он «был великой и святой личностью XVIII века». И великим мучеником, добавим мы от себя.

Ниже П. Кančаловский пишет, что в дальнейшем Леоново перешло П. Г. Демидову, известному меценату, основателю Ярославского лицея. Но что значит «перешло»? Снова поиски, и, наконец, в книге Ф. И. Булгакова «Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства» нашлась разгадка: после ареста Новикова и заключения его в Шлиссельбургскую крепость «имение, два дома в Москве и все типографское имущество <...> с книгами, шрифтами и пр., было повелено продать с публичного торга <...>. Только родовое имение в Авдотьино было предоставлено в пользу наследников».

Тот, кто захочет побольше узнать о Н. И. Новикове, может найти немало книг о нем, мне же хочется привести слова Н. М. Карамзина, его друга, можно сказать, ученика, и сподвижника по издательским делам: «Господин Новиков был в Москве главным распространителем книжной торговли. Взяв на откуп университетскую типографию, он умножил механические способы книгопечатания, отдавал переводить книги, завел лавки в других городах, всячески старался приохотить публику к чтению <...>. Он торговал книгами, как богатый голландский или английский купец торгует произведениями всех земель: то есть с умом, с догадкою, с дальновидным соображением. Прежде расходилось московских газет не более 600 экземпляров; г. Новиков сделал их гораздо богатее содержанием, прибавил к политическим разные другие статьи и, наконец, выдавал при «Ведомостях» безденежно «Детское чтение» <...> и теперь расходится московских (газет. — *С. А.*) около 6000...»

Хотя о Николае Ивановиче Новикове, как я уже сказал, написано немало книг, все сходится на том, что мы недостаточно знаем его биографию. Вспомним знамени-

тое высказывание В. Г. Белинского: «Кому неизвестно, хотя понаслышке, имя Новикова? Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и, смею сказать, великом человеке!» О том же писал Н. Огарев: «Вдумываешься во всю деятельность Новикова и отыскиваешь нить, проходящую от него до 14 декабря, и досадно, что материалы для науки жизни так мало разработаны...»

Во многих книгах о Новикове можно прочесть, что после смерти Екатерины II в 1796 году амнистированный Павлом I Новиков поселился в Авдотьине и жил там чуть ли не затворником. «...Вынужден был удалиться в деревню, где жил изолированно от общества, больной, разоренный, обремененный долгами...» — пишет, к примеру, Г. Макогоненко в предисловии к однотомнику Н. Новикова.

Однако это не совсем так. Известно, что в 1805 году Новиков пытался возобновить книгоиздательскую деятельность и, узнав, что сдается в аренду типография Московского университета, приехал в Москву, участвовал в торгах и, предложив наибольшую сумму, выиграл их. Но директор университета, испугавшись «крамольного» издателя, отказался передать типографию Новикову. Мало того: продолжая свой поиск, в книге И. Кондратьева «Седая старина Москвы» я обнаружил еще одно интересное свидетельство — оказывается, в Леонове, которое уже принадлежало Демидову, «живали летом у гостеприимного хозяина Новиков и Карамзин». А С. Любецкий в книге «Село Останкино с окрестностями своими» уточняет: «...в конце прошлого (восемнадцатого. — *С. А.*) столетия». Так поиск снова привел меня к Леонову!

Прочел я об этом, и меня опять потянуло туда. Село и парк стояли прежними, но теперь все для меня здесь осветилось немеркнущим светом. В парке, как и в прежние мои прогулки, было тихо и пустынно. И мне представилось: вот идут по аллее Новиков и Карамзин, присаживаются на скамью, беседуют. Они давно знают друг друга. Познакомились в 1784 году, когда восемнадцатилетний начинающий литератор Карамзин приехал в Москву. Новиков к тому времени был уже известный издатель. Их сблизила не только масонская ложа, в которую они оба входили. Когда Новиков задумал, считая, что «между некоторыми неудобствами в воспитании одно из главнейших в нашем отечестве есть

то, что детям читать нечего», выпускать журнал «Детское чтение для сердца и разума» (не отсюда ли ведет начало наша детская литература?), к редактированию его он привлек молодого Карамзина. (Позже Карамзин напишет в своей автобиографии, что «первыми трудами его в словесности были переводы, напечатанные в «Детском чтении»...)

Да, друзьям было о чем вспомнить, о чем поговорить. Россия, судьба народа, отечественная литература и литература зарубежная могли быть темами не одной беседы...

Кстати, в начале девятнадцатого века, когда Карамзин, «постригшись» в 1803 году в историки, иными словами — взяв на себя нелегкий труд написать многотомную «Историю Государства Российского», он начал эту работу в Свиблове, соседнем, в двух верстах, с Леоновом селе.

Новиков... Карамзин... Вот о ком напоминает Леоново. Конечно, это не Михайловское, не Ясная Поляна, не Мелихово. Таких мест, как Леоново, много, очень много в нашей стране, но все они — в большей или меньшей степени — памятные уголки нашей культуры, истории, интересны своим прошлым. И они тоже не должны оставаться безвестными. Что может быть печальнее этого «не знаю», первого признака нашего с вами невнимания к людям и местам, которые заслуживают того, чтобы о них помнили.

Да и забот-то всего ничего. Нужна только любовь и уважение к истокам нашей культуры, да и к самим себе.

Небольшая стела с надлежащей надписью, которую под силу установить одной из ближайших школ, о многом бы поведала людям. И они другими глазами посмотрели бы на село Леоново, на его церковь, на аллеи парка, почувствовали бы себя духовно богаче. Еще одна ниточка потянулась бы к нам из славного прошлого.

Можно пойти еще и чуть дальше. Не так уж трудно соорудить на берегу Яузы в одной из аллей парка, пока он еще уцелел (новые кварталы окружают его), допустим, «скамью Новикова и Карамзина». Наверняка найдутся охотники посидеть на ней, вспомнить, что это были за люди, а придя домой, может, и заглянуть в их книги.

Ничто, достойное нашей благодарной памяти, не должно быть забыто, и в каждом из нас должно жить стремление приобщить к нашему богатству культуры и духа что-то новое, пусть небольшое, забытое или полузабытое, выявить его и закрепить в народной памяти.

Как-то в газете «Известия» я прочел об учителе села Заборье, что под Киевом, Владимире Николаевиче Гориновиче. Владимир Николаевич из тех людей, кто знает о своих местах больше, чем другие, видит в окружающем такое, что скрыто от других.

Долгое время Владимир Николаевич в свободные часы, которых у любого учителя не так уж много, выбивал на громадной гранитной глыбе, что лежала у него на дворе, слова вязью: «Долина Надсона». А лет Владимиру Николаевичу тогда было семьдесят. Но почему — Надсона?

А дело было в том, что неподалеку от села, где жил Владимир Николаевич, находился овраг. В далекие теперь уже времена овраг этот, по словам учителя, был буквально белым от ландышей, и в этой белоснежной долине любил гулять поэт Семен Надсон. Пусть, скажем так, не первого ряда поэт, и тем не менее... И Владимир Николаевич захотел, чтобы люди знали и помнили о нем. Камень со двора перенесут (а скорее, уже перенесли!) в долину — для оповещения всех. Кто любит и уважает прошлое, тот доказывает это делом...

В ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

Летней ночью сорок первого года мы высадились на какой-то станции и зашагали с карабинами и скатками во тьму.

Вот уже какой день было это: рытье окопов, складов для мин, ночевки в сарае, а ночью — неожиданный подъем и марш километров на тридцать. Потом — снова ночевка в лесу, рытье окопов и снова дальше — по извилистым лесным дорогам, перерезанным частыми плетьми корней...

Сейчас нас подвезли куда-то, и мы пошли, тоже не зная куда.

Из Москвы никаких вестей: видно, почта не успевала за нами, не находила нас. А вечером на столицу, в

одно и тоже время, хоть часы проверяй, тяжело воя, летели невидимые нам фашистские бомбардировщики. Как-то мы заметили и зарево над Москвой...

И на этот раз мы остановились в лесу. На полянке, беспорядочно заросшей кустарником, рыли окопы и опять же — склады для мин.

Где мы? Никто не знал этого.

Мы видели какую-то совершенно безжизненную полевую дорогу, по которой при нас ни разу еще никто не проехал и не прошел. Ни деревни вблизи, ни избы...

Рытье окопов изматывало: не земля, а кремнезем и твердая, похожая на камень, слежавшаяся за века глина.

Ходили в какой-то ров стрелять и на маленькую речку купаться. По пути туда и обратно видели спрятанный в зелени большой дом или усадьбу...

И снова окопы, вечером — вой бомбардировщиков и более острые, чем днем, думы о близких... А писем все нет...

Как-то, не помню уже почему, свернули с дороги в усадьбу. В доме с башенкой, в широкой белокаменной лестнице, ведшей куда-то вниз, смутно угадывалось что-то знакомое, хотя никто из нас никогда здесь не был...

И вдруг — бюст Лермонтова.

Середниково!

Вокруг — ни в усадьбе, ни на дорогах и лугах — никого, кроме нас. Покинут и закрыт дом... 15 июля 1941 года исполнилось сто лет со дня смерти Михаила Юрьевича. Этот печальный юбилей помешала отметить война.

Мы одни здесь, люди, одетые в светло-зеленую форму, с новенькими карабинами через плечо. И стреляли мы, выходит, во рву, который примыкает к парку. Два лета, 1830 и 1831 годов, провел в Середникове молодой Лермонтов. Бродил по этим аллеям, спускался и в ров... Жил во втором этаже, в угловой комнате, наверное, за тем окном...

Здесь написано несколько стихотворений. Под некоторыми есть пометки вроде этой: «Средниково. Вечер на бельведере». Под «Завещанием» стоит: «В Средникове ночью у окна». Наверное, вот у этого самого...

Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...

Мой друг! ты знаешь ту поляну; —
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану!

Юношеские стихи... Вольный и созвучный тогдашним настроениям Лермонтова перевод Гёте.

Середникову отданы несколько месяцев короткой жизни, поэтический труд, увлечения, любовь, веселые проделки... Однажды ночью Лермонтов и мальчик-сосед забрались в мыльню, то бишь баню, и забавлялись тем, что пугали прохожих: их принимали за нечистую силу.

Долгие прогулки по окрестностям и в Троице-Сергиев, в знаменитую лавру... Здесь — встреча со слепым нищим, протянувшим за подаянием деревянную чашку, и потом стихи, написанные для Катеньки Сушковой:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бессильный, бледный и худой *
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку...

Теперь мы уже все осматривали внимательно. Запущенный парк с аллеями, белую лестницу, ведущую вниз в овраг, где мы стреляли, красный мост с массивным сводом... Сам дом...

Однако нужно было идти. Мы зашагали нестройной колонной. На этот раз командир даже не призвал нас подтянуться: на несколько минут мы оторвались от армейской жизни и погрузились в иную жизнь и в век иной. И это прекрасно понимал лейтенант.

По-прежнему не было писем, по-прежнему летали в сторону Москвы фашистские самолеты. По-прежнему по утрам рыли окопы. Топорами вгрызались в кремнезем и похожую на камень глину.

Но что-то изменилось, прибавилось в каждом из нас. Неведомая и безликая ранее местность, обозначенная на штабной карте какой-нибудь цифрой, стала вполне определенной и еще более родной.

И все потому, что здесь три лета жил почти еще мальчик. Но этот мальчик уже был Лермонтовым.

---

* Поздняя редакция этой строки: «Бедняк иссохший, чуть живой...»

ТУРГЕНЕВСКИЙ ДУБ

Один уважаемый мною человек рассказал, какие сильные чувства пережил он, отправившись рано утром на могилу Толстого. Солнце только взошло. Никого вокруг. Тишина... Один на один с тенью неистового правдоискателя...

Нам редко удается встретиться с великими вот так: чтобы ты и он. Толпы людей заполняют залы и комнаты мемориальных музеев, аллеи парков в усадьбах, теснятся у склепов и могил.

В Спасское-Лутовиново я приехал во второй половине ноября. Наконец осень, казалось, отступала, выпал первый снежок, подчеркнув удивительную тишину, покой и свежесть.

Мемориальный музей был уже закрыт, поток машин на трассе Москва — Симферополь почти иссяк, в парке стало совершенно безлюдно и тихо. Даже мои шаги бесшумны: под снежком — еще не примятая трава.

Вот здесь, значит, и жил Тургенев... Вот здесь...

Старый усадебный дом не сохранился. Его будут восстанавливать*. Я вижу лишь фундамент — огромный прямоугольник и примыкающее к нему крыло, этаким почти полукругом в сторону. Странно и волнующе то, что я прочел в документе из фондов музея Тургенева в Орле: никто еще не исследовал подвалы тургеневского дома. Мало ли что там может быть... Но мы ничего не знаем об этом.

Уцелели флигель, погреб, конюшня, сбруйная и каретный сарай, богадельня, мавзолей Лутовинова, церковь, правда, без колокольни... Уцелело много старых деревьев в парке. Уцелел и дуб Тургенева.

Мне приятно снять с полки первое издание писем Ивана Сергеевича и процитировать отрывок из его письма Я. П. Полонскому из Буживаля от 30 мая 1882 года: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».

Хватают за сердце эти слова, полные любви и грусти, это обращение к дубу, так естественно ставшему образом далекой родины. Много раз я замечал: человеку для выражения любви к самому великому и необъятному нужна всего лишь точка приложения его чувств.

---

* В настоящее время дом восстановлен.

Что-то небольшое, вещественное, очень простое. Дом, где родился, деревья под окном, камень сам по себе ничем не примечательный, дорогой лишь потому, что лежит на могиле праотцев...

Через год Тургенева не станет. Не раз в письмах своих он говорил о том, что никогда уж больше не увидеть ему Спасского и, стало быть, своего молодого дуба.

По мнению специалистов, возраст дерева — 150—160 лет. Для посадки Ванюша Тургенев взял саженец-дичок лет десяти, быть может, своего одногодка.

В повести «Фауст» можно найти строки, по всей видимости, относящиеся к этому дубу: «Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он... а что слышалось птиц!»

Молчаливый друг Тургенева не раз был при смерти, и только искусство многих специалистов спасло ему жизнь. Это удивительная история, и ее следует рассказать. В фондах музея Тургенева хранится документ, я бы сказал даже поэма, о том, как спасали дуб, написанный кандидатом сельскохозяйственных наук И. Я. Шемякиным.

Первую тревогу забили в 1951 году.

«С северо-восточной стороны в основании ствола, — сказано в документе, — был сильный ушиб. <...> Вследствие этого «мокла кора» <...>. Дерево плачем просило помощи».

«Плачем...», «просило...». Уж не одушевленное ли существо этот дуб?

Для осмотра заболевшего дерева приехал профессор К. С. Семенов. Он обнаружил «слезотечение» (так в документе), нашел, что почва под дубом уплотнена и осела, корни обнажились... Тысячи экскурсантов сочли непременным своим долгом постоять под дубом Тургенева — и вот результат.

Профессор назначил лечение, которое и было неукоснительно и самым тщательным образом проведено. Ранки продезинфицировали варом. Дупло было расчищено от гнили, покрыто смолой и зацементировано. Земля вокруг дерева, где могли остаться болезнетворные бактерии, удалена и заменена свежей. Обнаженные корни засыпаны, а само дерево огорожено.

В 1964 году — новая беда: с первых дней августа дуб начал сбрасывать сухие листья и даже ветки с зелено-желтыми и желтыми листьями. А здоровый дуб и зимой в сухой листве. Тревога! В районной газете появляется заметка, снова шлют за учеными. Свою работу они начали с исследований и вычислений: необходимо было проследить рост числа опавших ветвей за последние годы, число листьев желтых, зеленых, ветвей без листьев и почек...

Тургеневские времена делаются не такими уж далекими от нас, когда узнаешь, что в лечении дуба принимал участие пчеловод В. Ф. Пасынков, дед которого работал в усадьбе еще при Иване Сергеевиче. Тургенев подарил ему букварь, учил грамоте. Еще в 1964 году жива была бабушка нашего пчеловода, которая хорошо помнила Ивана Сергеевича в Спасском.

Дуб сейчас достигает 28—30 метров высоты. Окружность ствола — пять метров. Безмолвный друг великого человека, при такой любви к нему и внимании он еще долго простоит, воскрешая в памяти страницы его неспокойной жизни.

Рядом с усадьбой — кладбище, где одиноко высится мавзолей крепостника Лутовинова, тот самый, в который, единожды побывав, Иван Сергеевич уже никогда больше не отважился заглянуть: настолько страшен был мир забвения, отданный мокрицам и гнили. И стоит усыпальница, напоминая о годах бесправия и дикости. Дуб и мавзолей: разные памятники, разные воспоминания, разные судьбы.

Из-за облаков иногда выглядывало солнце и грело неожиданно сильно для ноября, под снежком — густая мягкая трава. По-прежнему тихо и безлюдно. Воздух еще не стал морозным, во всем — и в этом солнце, и в этой только сегодня ночью припорошенной траве, — во всем еще чувствуется поздняя, цепкая осень.

Никого... Тишина... Первозданная свежесть и покой... Чистый снежок на вечно живом дубе, осененном величием человека.

Жизнь и произведения Тургенева изучали и будут тщательно изучать, и любители прямых линий не раз споткнутся, вынужденные объяснить те или иные факты его жизни. Но человек, который посадил дерево, вырастил его и видел в нем символ родины, всем понятен без объяснений.

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

На довольно высоком откосе стоят деревянные дома, которым, наверное, лет по сто. Весной они утопают в белой кипени вишневых и яблоневых садов, летом — в зелени, ну, а сейчас, зимою, их еще можно, не без труда, правда, рассмотреть через густоту ветвей лип и берез. Деревянные, небольшие, с огромными окнами, с резьбой наличников и карнизов, они живо передают черты ушедшего века.

Внизу, показывая, какой он красивый и еще по-молодому юркий, делает лихой поворот Орлик. Во времена Тургенева за Орликом тянулись луга.

Вот здесь, над Орликом, и происходило действие «Дворянского гнезда». Одна из усадеб над ним — прототип усадьбы Калитиных. Правда, дом, конечно, перестроен, почему-то именно его парк и сад поредели больше других, но откос, домá возле, Орлик с заречными далями хранят атмосферу далекого времени.

Знаменитый откос этот вскоре должен был исчезнуть. Бурные потоки дождевой воды размыли его, прорезали глубокие, узкие рвы... Жители вынуждены были перенести заборы: они оказались частью снесенными, частью нависли над обрывом... Еще несколько весен, дождливых осенних месяцев — и мало что останется от «Дворянского гнезда»...

Ну что ж... Уж настолько ли велика историческая и художественная ценность небольшого кусочка земли, чтобы раздумывать над его судьбой? Кто-то когда-то, видите ли, сказал, что именно этот дом, этот усадебный парк над Орликом и имел в виду Иван Сергеевич Тургенев, когда писал свой роман. А может, и не имел?

Вопрос этот и есть вопрос всех вопросов, возникающих в тех или иных обличьях, когда решается судьба исторических, художественных памятников, домов, усадеб, так или иначе связанных с жизнью и творчеством замечательных людей. Легче всего подвести «теоретическую» базу для того, чтобы пустить дом под бульдозер: «пришел в ветхость», «не представляет большой художественной (исторической) ценности», «из-за отсутствия экспонатов организацию музея считаем нецелесообразной (невозможной)» и так далее, варианты могут быть умножены, но и этих вполне достаточно, чтобы обосновать снос чего угодно. И сколько всего бездумно и преступно снесли!

Но «Дворянское гнездо» решили спасти и спасли в буквальном смысле. Десятки мощных машин возили сюда грунт, рабочие упрятывали стоки под землю, на свежей земле посадили молодые деревца. Объем земляных работ был здесь немалый...

И сейчас каждый, кто приходит сюда, без труда узнает: «Дворянское гнездо»... Живее представит девятнадцатый век, героев Тургенева, самого Ивана Сергеевича, задумается над своей жизнью — один на минуту, другой на десять...

Моральная, эстетическая ценность таких уголков огромна, власть их над человеком велика, хотя и оказывают они влияние на нашу душу незаметно, тихо, очень индивидуально.

В том, что дело кончилось благополучно, большая заслуга ныне покойного энтузиаста-краеведа Леонида Николаевича Афонина. Я не только отдаю ему дань памяти, но пишу еще и потому, что и сейчас еще нет-нет да и пускаются под бульдозер дорогие сердцу места и памятники старины. Вот, к примеру, о таком факте рассказывает в своей книге «Прошлое — будущему» академик Дмитрий Сергеевич Лихачев: «В селе Достоево, в Белоруссии, откуда происходили предки Достоевского, существовала небольшая церковь XVIII века. Она не числилась на государственной охране <...>. Архитектор Т. В. Габрусь с другими специалистами делали обмеры этой церкви. Как только архитекторы уехали, директор местного совхоза, боясь, что памятник поставят на учет, приказал снести церковь бульдозерами».

Жаль, что Дмитрий Сергеевич не назвал фамилии директора: дикость и невежество тоже нужно называть поименно.

РЯДОМ С ШЕВЧЕНКО

В городе Каневе — на высоких днепровских кручах — дорогая всем могила Тараса Шевченко: похоронен там, где завещал. Над ней — величественный монумент, по-моему, слишком величественный, чтобы быть поистине красивым.

Взобравшись на Тарасову гору и отдав дань признательности Кобзарю, вы можете не без труда разыскать и вторую могилу — человека в своем роде легендарного, но, к сожалению, малоизвестного. Это первый

сторож могилы Тараса Шевченко. Кто велел прийти ему сюда и кто по какой графе «провел» эту должность? Кто утвердил «штатную единицу» и платил ему жалованье, а потом зарплату? Говорят, никто, и я не знаю точно. Может, впоследствии и был как-то оформлен, но в начале — доброхот без каких-либо прав, но с обязанностями, взятыми на себя самим. Он просто любил своего певца, сумевшего выразить заветное так, как сам сторож чувствовал, но никогда бы и ни за что не сумел бы облечь в стихотворение или песню. Долгие годы прожил этот человек на Тарасовой горе, вдали от людей, перенося холод и голод ради того, чтобы могила Кобзаря имела достойный вид.

Сторож Тарасовой могилы совершил и другое благородное дело — в 1899 году завел книгу отзывов посетителей. Ныне в музее-заповеднике число книг отзывов перевалило за сотню.

Имя его — Иван, фамилия — Ядловский. Годы его — 1850—1933.

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

В древней нашей столице есть место, которое непременно должно стать святым для людей, особенно для молодежи. Туда должны потянуться своего рода паломники, те, кому дороги имена двух замечательных русских писателей. Я говорю о месте клятвы Александра Герцена и Николая Огарева на Воробьевых, ныне Ленинских горах.

Пример их дружбы, вся их блистательная жизнь и неутомимая борьба, ставшая как бы исполнением этой клятвы, на мой взгляд, заслуживают того, чтобы на знаменательном месте мы воздвигли своего рода монумент верности дружбе и провозглашенным идеалам, верности до последнего дыхания. Таких примеров, если даже старательно поискать, найдешь немного.

Долгое время место клятвы Герцена и Огарева нашим современникам не было известно.

А искали ли его достойным образом, старались ли найти? Если мне не изменяет память, — нет, таких попыток, серьезных попыток, не было. Да и подумать только: найти на Воробьевых горах место, где более ста лет назад стояли два молодых человека! Возможно такое?

Оказывается, возможно. Место это сейчас стало известно. Как — об этом я скажу ниже, но его можно было найти без больших усилий значительно раньше. И — главное — наверняка в более сохранном виде.

Ведь на вопрос, где искать место клятвы, отвечает сам Александр Иванович Герцен, и отвечает довольно точно и подробно: в «Былом и думах», в главах «Ник и Воробьевы горы» и «Александр Лаврентьевич Витберг».

В главе «Ник и Воробьевы горы» можно прочесть:

«Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой <...>. Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Герцен описывает одну из таких поездок за город, которые в то время, по его словам, были «нешуточными делами»: «В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку <...> и, опередивши отца и Карла Ивановича, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах».

Запомним эти слова: «...на место закладки... Витбергова храма...»

Далее Герцен пишет:

«Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».

Александру Герцену было пятнадцать лет, Николаю Огареву — четырнадцать.

«Сцена эта, — пишет Герцен, — может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша <...> С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, всегда одни».

Итак, место клятвы — место закладки Витбергова храма.

Но что это за «Витбергов храм»?

После победы над Наполеоном Александр I издал манифест от 25 декабря 1812 года «О построении в Мо-

скве церкви во имя Христа Спасителя в ознаменование благодарности к промыслу божию за спасение России от врагов».

Храм предполагался огромный, необыкновенный, своего рода чудо. Объявлен был широкий конкурс. И хотя в нем участвовали не только виднейшие русские архитекторы, но и архитекторы Италии и Германии, его победителем оказался молодой русский художник, самостоятельно для этой цели изучивший архитектуру, Александр Витберг, швед по происхождению.

«Колоссальный, исполненный религиозной поэзии проект Витберга поразил Александра», — пишет Герцен.

Храм должен был быть воздвигнут на возвышенности, которая «царит над всем городом», — на Воробьевых горах.

«Но это еще мало, — продолжает Герцен, — надобно было самую гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство».

Гора — часть храма! Действительно, «проект был гениален, страшен, безумен». Существовало даже мнение, что гора не выдержит этого почти фантастического сооружения...

В 1817 году на Воробьевых горах состоялась церемония закладки Витбергова храма, было место это обозначено памятным знаком. Однако храм построен так и не был. В 1912 году, в связи со столетней годовщиной победы над Наполеоном, Московская городская дума вторично отметила место постройки храма: по-видимому, памятный знак, сооруженный самим Витбергом, пришел в ветхость, а может, и совсем разрушился, ведь прошло почти сто лет.

И снова шли годы. Время и недобрые люди постепенно разрушали то, что давно нужно было объявить заповедным местом...

В пятидесятых годах я написал в Моссовет письмо с предложением установить памятный знак на месте клятвы Герцена и Огарева, указав ориентир: место закладки «Витбергова храма». Мне ответили, что установить знак невозможно, поскольку место это утрачено...

...Я поехал на старые Воробьевы горы в чудный день начала октября, второго по календарю осеннего меся-

ца. Но осень в тот год была необыкновенной. Сияло яркое, совсем не уставшее за долгое лето солнце, в его лучах было тепло, в тени — прохладно. Воздух был свежий, спокойный, прозрачный... Мне казалось невероятным, чтобы от места закладки храма не осталось и следа.

Выйдя из метро — подумать только: метро прямо на Воробьевых горах! — я свернул вправо и начал взбираться по крутой стежке. Наверно, думал я, придется изрядно побродить, прежде чем найдешь это место против Лужников, если оно еще сохранилось. Но несколько минут хода — и вдруг... Трудно пройти мимо, не обратив на это внимания: на крутом склоне — каменная кладка, поврежденная — местами совсем недавно — чьими-то недобрыми руками, наверху — цементная площадка. Когда-то она была обнесена решеткой, о чем свидетельствуют остатки чугунных столбиков. В центре площадки — усеченный конус с четырехугольным углублением посередине: наверно, гнездо для непременного на месте закладки храма креста. Неужели это и есть место закладки «Витбергова храма», а следовательно, и место клятвы Герцена и Огарева? Или это что-то другое? Я вновь обратился в Моссовет и получил такой же ответ: «Утрачено!»

Весной 1966 года в связи со знаменательным событием — перенесением праха Огарева на родину — интерес к истории дружбы Герцена и Огарева, к их клятве на Воробьёвых горах, естественно, возрос. Снова была лениво высказана все та же точка зрения: теперь уже место клятвы найти трудно, даже просто невозможно.

И вот, как бы в ответ на эти сетования, в «Литературной газете» появилось сообщение литературоведа Александра Храбровицкого, в котором он писал:

«Несколько лет назад на склоне Ленинских гор, между станцией метро и лыжным трамплином, мое внимание привлекла небольшая цементная площадка с развалинами какого-то памятника. Место это напоминало одну старую фотографию, воспроизведенную в книге Т. П. Пассек «Из дальних лет».

А. Храбровицкий разыскал снимок. Под ним стояла подпись: место клятвы Герцена и Огарева. С фотографии 1930-х годов».

Я отправился в библиотеку, нашел эту книгу, посмотрел на фотографию. Сомнений быть не могло!

На этот раз, взяв с собой сыновей, я снова поехал

на Воробьевы горы. Вот и площадка, она находится на перекрестке двух тропинок — идущей поверху вдоль Москвы-реки и взбирающейся вверх. Рядом трамплин. Зимой и летом — бойкое место, одно из самых многолюдных на Ленинских горах. Люди проходят мимо площадки. Откуда-то издалека доносится усиленный мегафоном голос: «К финишу приближается номер сто семьдесят...» Идет кросс... Мужчина в плаще поднялся на площадку, притопнул, чему-то засмеялся... Юноша и девушка спускаются вниз, не удостоив ее взглядом...

Я приготовил камеру и, поставив на площадку сыновей, несколько раз снял памятное место. Правда, оно затенено, и мне снова и снова приходится делать дубли...

— Зачем вы снимаете ребят в такой тени? Шли бы на солнце, — советует мне проходящая мимо женщина.

Еще двое проходят мимо. Мимо...

Я постоял на площадке, пытаясь представить то, что произошло здесь много-много лет назад... Деревья заслоняют неузнаваемо изменившиеся с герценовских времен Лужники. Между лип и берез просвечивают светлые сооружения Москвы, блестят на ярком солнце теперь редкие точечки куполов, блестят, как блестели тогда, почти полтораста лет назад, хотя сейчас их труднее отыскать взглядом в массиве домов раскинувшегося «на необозримое пространство» города...

Я верю: когда-нибудь люди будут останавливаться здесь и снимать шапки.

Очерк этот, который не без некоторых оснований может показаться несколько устаревшим, был в сокращении напечатан в журнале «В мире книг» в 1973 году, на него последовал ответ Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома, в котором сообщалось, что на Ленинских горах столицы предполагается соорудить памятный знак в честь двух выдающихся русских писателей.

Это решение, как известно, выполнено.

«ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ...»

Человек умер. Вслед за ним постепенно сошли в могилу его друзья и знакомые, унеся с собой последнюю память о нем. Родственников, насколько известно, не

было. Жил человек в мансарде двухэтажного дома. Имущество ценности не представляло, но разошлось-таки по соседям... Самое дорогое — наброски великого Саврасова, сделанные прямо на беленых стенах, — унести не могли...

Похоронили человека на бедном Лазаревском кладбище. Еще в конце 20-х годов писали, что вряд ли кто укажет его могилу. Ну а теперь? Теперь и кладбища такого не существует...

А в то же время живут как бы отдельно от него, вернее, совершенно отдельно, оставленные им песни «По диким степям Забайкалья...», «Очаровательные глазки», книга «Седая старина Москвы»... Песни настолько популярны и любимы, что давно уже считаются народными, то есть оцениваются по самой высокой шкале, а «Седая старина Москвы» — до сих пор ценнейшее издание о старой Москве и, само собой разумеется, — большая библиографическая редкость. Было много других книг, да разве сейчас их сыщешь...

Но все это я узнал позже. А пока...

Каждый из друзей книги в той или иной степени знает труд маститого профессора Ивана Егоровича Забелина «История города Москвы», для многих собирателей — недосягаемая мечта иметь его у себя. О И. Е. Забелине можно прочесть в энциклопедии, можно найти не одну работу... А кто знает «Седую старину Москвы» и ее автора? И сам я, неблагодарный, много раз снимал с полки этот том без единой иллюстрации (полностью он называется «Седая старина Москвы. Исторический обзор и полный указатель ее достопамятностей: соборов, монастырей, церквей, стен, дворцов, памятников, общественных зданий, мостов, площадей, улиц, слобод, урочищ, кладбищ и проч., и проч., с подробным историческим описанием Москвы и очерком ее замечательных окрестностей»), наводил ту или иную нужную мне справку и ставил книгу обратно, мельком взглянув на фамилию автора. «Какой-то Кондратьев...» Но чем больше читал, тем больше проникался уважением к неизвестному мне автору: находил у него то, чего нет у других историков Москвы. Столько труда и любви вложил в книгу о нашей древней столице! Наверное, этот Кондратьев имел досуг, достаток, позволявшие неторопливо делать разыскания в архивах, кропотливо собирать воедино то, что могло навсегда исчезнуть... А тут еще я узнал, что песни, которые я любил и, как многие дру-

гие, считал народными, написаны им же, Иваном Кондратьевым.

Мне захотелось узнать, что за человек был Иван Кондратьев, как жил, что написал еще, захотелось вызволить его из безвестности, найти хоть крохи сведений о нем — на многое я не рассчитывал, — узнать, где жил в Москве... Захотелось хотя бы прикоснуться к истине.

В обеих «Литературных энциклопедиях» я не нашел о Кондратьеве ни слова. Не нашел о нем ни книг, ни статей. А вот в книгах о его более знаменитых друзьях и знакомых мне удалось почерпнуть кое-какие сведения.

Как далеко от того, что я вообразил себе, оказалось то, что узнал, роясь в десятках книг и буквально по крупицам собирая сведения об Иване Кондратьеве! Какой там достаток! Бедность, нужда...

Писатель Иван Белоусов, тоже, к сожалению, уже полузабытый, был дружен с так называемыми писателями из народа, к числу которых принадлежал и Иван Кондратьев, и он оставил о них чуть ли не единственные свидетельства. По крайней мере, большинство последующих историков литературы, касаясь этой темы, постоянно обращаются к нему. Спишу у него и я:

«С Иваном Кузьмичом Кондратьевым я был лично знаком. Он представлял собой тип тогдашней богемы. Жил в конце Каланчевской улицы, около вокзалов, в доме Могеровского. Мне несколько раз приходилось бывать у него на квартире, которая представляла настоящую мансарду: низенькая комната в чердачном помещении с очень скудной обстановкой, — стол, кровать и несколько стульев — больше ничего.

Особенность этого помещения заключалась в том, что все стены были в эскизах и набросках углем, сделанных художником — академиком живописи Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, автором известной картины «Грачи прилетели»...

«Жил в конце Каланчевской улицы...» Так это же совсем неподалеку от моего дома! Буквально в 8—10 минутах ходьбы!

Я отправился на Каланчевскую. В конце ее (по старому исчислению, теперь она тянется дальше), как раз напротив нынешней станции «Каланчевская», два дома с мезонинами, на правой и на левой стороне улицы. Но из

других источников я знал, что дом Могеровского находился на нечетной стороне. Значит — этот!

Я долго не решался зайти в него. Мне казалось — и наверное, не без оснований, — что мое любопытство будет принято за праздное. «Какой еще Кондратьев?.. Жил, говорите, в конце того — начале этого века? А сейчас какой год — знаете?»

Укоряя себя за нерешительность, я проходил мимо, а моему воображению представлялось, что где-нибудь на чердаке или в чулане лежит запыленная связка каких-то бумаг, о которых все совершенно забыли, а потому не сдали в макулатуру. Бумаги, конечно же, завернуты в полотно А. Саврасова, изрядно попорченное временем и небрежением. Я очень живо представлял себе эту пачку, где могли быть рукописи Кондратьева, письма Саврасова, Сурикова, Левитана, Николая Успенского, с которыми дружил Иван Кузьмич, и, может быть, даже ответное письмо Чехова, к которому обращался Кондратьев...

Забегая вперед, скажу, что в один из дней я все-таки собрался с духом и вошел в дом. Встретили меня приветливо, но — увы! — об Иване Кузьмиче Кондратьеве никто ничего не знал, что, конечно, и следовало ожидать. Дверь, ведущая на мансарду, была заколочена...

Но вернемся к Белоусову: «Кондратьев жил <...> исключительно тем, что поставлял на Никольский рынок* литературный товар. Он писал большие романы, повести, между прочим, особой известностью пользовался его роман «Салтычиха». Есть у него одна вещь, написанная стихами в драматической форме, «Пушкин у цыган». Вообще Кондратьев писал очень много стихов, которые были изданы в 1897 году довольно объемистой книгой под названием «Под шум дубрав».

Вряд ли все, написанное Кондратьевым для издателей Никольского рынка, имело литературную ценность, как, впрочем, и большинство произведений поставщиков Никольского рынка, но, быть может, именно это дало ему возможность написать свой действительно серьезный и ценный труд о Москве.

Мне иногда кажется, что именно о Кондратьеве на-

---

* Рынок у Никольских ворот, где, в числе прочего, продавалось много дешевой печатной продукции. (*Примеч. авт.*)

писал Сергей Есенин в своем еще далеко не совершенном стихотворении «Поэт»:

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.
Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум, душевный шум,
Снесет он завтра за целковый.

Все верно! Иван Кондратьев долгие часы просиживал «в тесном чердаке», надеясь только на литературный заработок. А Никольский рынок, как известно, не баловал писателей, и выражение «за целковый», к сожалению, не только поэтическая фигура. Издатели Никольского рынка выпускали книги довольно быстро, но платили авторам гроши. Известны случаи, когда рукопись повести приобреталась в полную собственность издателя за 5, 10, 15 рублей. И это еще благо: И. Сытин в своих воспоминаниях «Жизнь для книги» замечает, что «каторжный труд этих литературных нищих... никак не оплачивается: это скорее было подаяние, чем литературный гонорар».

В поисках материалов о Кондратьеве я обратился в ЦГАЛИ. Там обнаружили три письма и доверенность. Конечно, мало, но я и на это не рассчитывал. Два письма, написанные писателю-народнику, этнографу, редактору журнала «Книжник» и газеты «Русский курьер» Ф. Д. Нефедову, показались мне особенно примечательными: из них мы узнаем о положении Кондратьева от него самого. Делая выписки из этих писем достоянием литературной общественности, я не могу не отдать дань уважения и благодарности работникам ЦГАЛИ, которые отыскали эти документы и прислали мне их в копиях. Вот эти письма:

«Москва, 11 декабря 1873 г.

Многоуважаемый Филипп Диомидович!

Обращаюсь к Вам, Филипп Диомидович, с покорнейшей просьбой. Помогите. Я затеваю с одним эфиопом процесс. Мне нужен адвокат, потому что сам, очень понятно, дело вести не в силах. А дело довольно-таки сложное. Суть его вот в чем. На днях вышла из печати и продается за два рубля книга под названием «300 пьес в кратком их содержании для г. г. любителей драматического искусства». Книга эта составлена мною

и издана Волковскою Театральною Библиотекой, содержимою Репиным. С этим-то Репиным я и хочу воевать. Этот милостивый государь мало того, что почти не заплатил мне за составление этого сборника, состоящего, кажется, из 30 печатных листов, но даже скрыл мою, как составителя, фамилию...»

В другом письме, к сожалению, без даты, он пишет тому же Нефедову:

«Многоуважаемый Филипп Диомидович!

Здоровье мое по-прежнему плохо. Ну да черт с ним. Я не падаю духом и замышляю поставить на Секретаревском театре* спектакль. Для спектакля оного мне понадобится пьеска «Одного поля ягода», которая у Вас имеется. Не пришлете ли Вы мне ее через Викентия Ивановича. Да, еще: нет ли у Вас в виду каких-нибудь кабинетных занятий и для Викентия Ивановича и для меня. Работа в комиссии прекратилась, и я теперь по этому случаю сижу на бобах да в кулак посвистываю. Вместе с пиеской «Одного поля ягода», я хочу поставить и одно из своих драматических детищ. Надеюсь, что Вы не откажетесь украсить тупую толпу зрителей своим присутствием. Спектакль однако состоится не ранее двадцатых чисел января.

Многоуважающий Вас

И. Кондратьев»

«Я замышляю поставить... спектакль...» — еще одна сторона деятельности Кондратьева.

В 1887 году в издании Ф. Аксенова вышла лирическая сцена И. К. Кондратьева «Пушкин у Яра». Литографированная иллюстрированная обложка этой книжечки в 24 страницы «Тройка у Яра» сделана по рисунку даровитого Николая Чехова, брата Антона Павловича. Но, оказывается, Кондратьев был дружен не только с Николаем, но и с Михаилом Чеховым. Об этом свидетельствует такой факт: Михаил Чехов, еще в гимназии, занимался стихотворными переводами. Но так как гимназисты в те времена не имели права печататься, то его переводы появлялись в сатирическом журнале «Свет и тени», где в 1879—1883 годах сотрудничал И. Кондратьев, подписанные инициалами последнего. Был знаком Кондратьев и с самим Антоном Павлови-

* Секретаревский театр — небольшой частный театр мецената-любителя П. Ф. Секретарева на Кисловке, сдававшийся преимущественно под любительские спектакли. (*Примеч. авт.*)

чем, что подтверждает письмо, о котором речь пойдет дальше.

Что представлял собою один из многочисленных тогда сатирических журналов «Свет и тени», дает яркое представление хотя бы такая иллюстрация: на рисунке изображена виселица, а под ним подпись — «Наше оружие для разрешения насущных вопросов».

Особенно дружен был Кондратьев с замечательным нашим художником, академиком живописи, при жизни своей так и не спознавшим большого проку от своего громкого титула, Алексеем Кондратьевичем Саврасовым. Жизненная неустроенность, ощущение, что этот мир не для них, уверенность, что счастья для них нет и не будет, взаимное уважение к талантам друг друга, понимание русской природы и истории, вообще русского — вот что, на мой взгляд, сблизило их.

А. Саврасов подарил своему другу набросок «На кладбище», надписав: «И. К. Кондратьеву от А. К. Саврасова на память. 18 июля 1884 г.» В журнале «Свет и тени», в № 4 за 1881 год, за подписью «И. К.» Кондратьев опубликовал статью «Девятая передвижная выставка», в которой отмечал и работы высоко ценимого им Саврасова.

В интересной монографии Ф. С. Мальцевой «Алексей Кондратьевич Саврасов», вышедшей в 1977 году в издательстве «Искусство», автор, хотя и с оговорками «очевидно», «весьма возможно», обвиняет Кондратьева в том, что он сыграл «мрачную роль в судьбе художника» и, вовлекая Саврасова в богемную жизнь, ради нее «нередко прибегал к продаже написанных Саврасовым картин и этим самым как бы снова вовлекал его в тот же замкнутый круг страшной для художника жизни». В качестве примера приводится письмо Кондратьева А. П. Чехову с предложением купить картину.

Конечно, беспорядочная жизнь Кондратьева и его друзей вряд ли способствовала творчеству, но в то же время нет ли в этом и доли преувеличения? Взять хотя бы такой труд, как «Седая старина Москвы». Вряд ли его можно было написать, если не работать серьезно, систематически.

«Прибегал к продаже написанных Саврасовым картин...»

А почему бы не предположить, что Кондратьев, зная о нищенской жизни академика живописи, который за гроши (!) не гнушался писать картины для Сухарев-

ского рынка, спасал его от необходимости, как бы мы теперь сказали, халтурить, находя пристойную работу и пристраивая его картины в надежные руки?

Кто мог быть надежнее и достойнее Антона Павловича? И Кондратьев в 1887 году пишет ему письмо: «Весьма сожалею, что вчера в Новодевичьем монастыре мы как-то «растерялись»... А я вам хотел предложить приобрести у меня, «на выгодных условиях», картину г. Саврасова. Величина картины $1^1/_2$ арш. вышины и 1 арш. ширины. Картина весьма эффектна... Копия с «Грачей» тоже возможна».

Мы долго не знали, что ответил Чехов Кондратьеву, а порядочные люди всегда отвечали на письма, если последние не сущий вздор. И как горько и обидно было читать первую публикацию ответного письма Антона Павловича в «Неделе» с оговоркой, что адресат не установлен. Зато в Полном собрании сочинений и писем Чехова Кондратьев называется и приводится текст ответного письма Чехова:

«21 окт.

Уважаемый Иван Кузьмич!

Большое Вам спасибо за Вашу готовность сделать мне приятное. Иметь картину г. Саврасова я почитаю для себя за большую честь, но дело вот в чем. Хочется мне иметь «Грачей». Если я куплю другую картину, тогда мне придется расстаться с мечтой о «Грачах», так как я весьма безденежен.

Жму Вам руку и прошу поклониться Николаю Аполлоновичу.

Ваш А. Чехов»

Другим закадычным другом Ивана Кондратьева был писатель Николай Успенский, двоюродный брат Глеба Успенского. Мы мало интересуемся им и мало что знаем о нем, человеке трудной судьбы. Да, по правде сказать, и не очень стремимся к этому. Но вот Иван Алексеевич Бунин не пожалел сил и времени, чтобы прояснить биографию и обстоятельства последних лет жизни Николая Успенского, приведшие к самоубийству «...одного из первых и крупнейших народных писателей, совершенно особой, своеобразной школы, зародившейся в шестидесятых годах». Еще один забытый писатель...

Собрав, по возможности, материал о жизни и личности автора песни «По диким степям Забайкалья...», я опубликовал небольшие отрывки из этого очерка в «Литературной газете», и мне представилась возмож-

ность уточнить некоторые факты биографии Ивана Кондратьева, лад его жизни. Удивительное дело! Как много читателей оказалось заинтересованными в извлечении как бы из небытия автора знаменитой песни! Один благодарит за то, что я как бы открыл для многих творца любимого произведения, хотя я и не претендовал на приоритет в таком открытии: имя автора «По диким степям Забайкалья...» узкому кругу специалистов давно известно. Другие предлагали помощь в продолжении работы. Ленинградский ученый и библиофил В. А. Петрицкий привез мне ксерокопии автографов Ивана Кондратьева, материалы, относящиеся к его жизни. Прислали мне и фотографию Кондратьева, которой не располагал даже ЦГАЛИ.

Оказывается, сохранилась даже автобиография Кондратьева! Охотно принимая помощь самоотверженных помощников, привожу отрывки из письма Кондратьева А. И. Яцимирскому, историку-слависту, который готовил издание книги о писателях из народа и для этой цели попросил их озаботиться присылкой соответствующих материалов.

«Милостивый государь Александр Иванович!

<...> Второе письмо несколько смущает меня. Кто меня причисляет к числу русских «самородков» — право, не знаю. Принадлежу я просто к числу обыкновенной «литературной братии», — в силу сложившихся житейских обстоятельств, занимающийся «всем понемножку».

<...> Во всяком случае, удовлетворяя Ваше желание, посылаю Вам свою фотографическую карточку и «автобиографию». Подойдет Вам — ладно, нет — бросьте в свою «литературную» корзину».

Письмо написано 2 октября 1902 года. К нему, как и было сказано, приложена автобиография.

«Иван Кузьмич Кондратьев — родился в Вилейском уезде, Виленской губернии, в с. Коловичах, 9 июля 1849 г. Будучи сыном совершенно бедных родителей, был сдан в батальоны военных кантонистов, в г. Смоленске. В 1858 г. по выбору начальства переведен в фельдшерскую школу при бывшей СПБ Медико-Хирургической Академии, из которой вскоре вышел, и поступил на службу в канцелярию попечителя Виленского учебн. округа. Тут впервые, в 1864 г. (цифра 4 переделана из цифры 6: возможно неверное прочтение. — *С. А.*) г. Кондратьев начал помещать в «Виленском

вестнике», под редакцией М. Де Пуле, стихотворения и небольшие статьи. Поступив затем в Виленский казенный театр в качестве артиста и помощника режиссера, поставил на сцене одну свою пьесу и перешел, в 1872 г., тоже в качестве артиста и помощника режиссера (режиссером был А. Ф. Федотов), в Народный Театр в Москве. Здесь, на конкурсе пьес для народного театра, за свою историческую драму «На Поволжье» («Быль на Волге») г. Кондратьев получил большую золотую медаль. Оставив театр (по окончании Политехн. выставки), г. Кондратьев всецело отдался литературе, состоя, разновременно, в нескольких московских периодических изданиях секретарем. За это время им написано и помещено в разных периодических изданиях, в Петербурге и в Москве, множество стихотворений, очерков, рассказов, повестей, драматических произведений и романов. Из них особенно обратили на себя внимание романы: «Гунны», «Церковные крамольники», «Салтычиха» и «Трифон-Сокольник». Между прочим, г. Кондратьевым составлено подробное историческое описание Москвы и ея окрестностей, под названием «Седая старина Москвы», обратившая на себя внимание знатоков и ценителей подобного рода сборников. В 1897 г. г. Кондратьев издал свои стихотворения, под названием «Под шум дубрав». С самого основания Общества Русских Драматических Писателей г. Кондратьев состоит его действительным членом. Г. Кондратьевым написана также масса книг для детского и народного чтения».

Естественно, что в «Автобиографии», предназначенной для официального издания, судьба и общественное положение автора выглядят солиднее и благополучнее, чем это было на самом деле, хотя все изложенное Иваном Кузьмичом — правда и только правда. Просто писатель отсек как несущественное и недостойное гласности все низкое, с чем сталкивался он в повседневной и очень-очень непростой жизни. Недаром в указанном письме А. И. Яцимирскому Иван Кузьмич как бы между прочим замечает: «Что мы можем сказать друг о друге? Все одна и та же история...»

...Иногда у меня мелькала мысль: «Зачем я хожу по старым улицам, роюсь в книгах, обращаюсь в архивы, зачем отыскал место, где находилось Лазаревское кладбище с затерянной могилой Ивана Кондратьева? Кому это надо? Другие вон едут на БАМ или Самотлор, пишут о современниках-героях, что, может быть, нужнее,

актуальнее? Но ведь может быть и так, что в эту самую минуту бамовцы, собравшись где-нибудь неподалеку от знаменитого озера, сидя у костра, затянут вдруг:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

. . . .

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит —
О родине что-то поет...

Песня колдовского очарования, как и многие народные песни, сюжетная, действенная. Поют ее и не знают, кто написал! А она — живет! Живет в памяти народной. Но память — памятью, а долг — долгом. Человек подарил людям, потомкам своим, песню, а они даже при большом желании мало что могут узнать об ее авторе. Несправедливо! И тем обиднее становится, когда, допустим, берешь в руки книгу «Русские народные песни», выпущенную солидным издательством, солидным тиражом 325 тысяч экземпляров, в разделе «Новые народные песни» (конец XIX — начало XX века) находишь песню «По диким степям Забайкалья...» и видишь, что она — безымянна. Указаны многие полузабытые авторы, такие, как Р. Грейнц («Плещут холодные волны»), А. Амосов («Хас-Булат удалой»), Н. Анордист («Вот на пути село большое»), Д. Садовников («Из-за острова на стрежень») и другие, Кондратьева же нет и в помине.

В том же издательстве стихотворение В. Маяковского «Екатеринбург — Свердловск», которое в свое время в некоторых газетах было напечатано под названием «По диким степям Забайкалья...», в собрании его сочинений комментируется так: «По диким степям Забайкалья...» — сибирская (! — *С. А.*) песня»...

Не раз еще ходил я к дому Кондратьева и каждый раз испытывал, к сожалению, не всем понятную радость. Что-то из своего долга я исполнил. Толпы людей посещают мемориальные музеи классиков, осаждают, допустим, «домик няни Пушкина» или «дуб Тургенева», а я побывал у забытого, обиженного богом и судьбой писателя.

Однажды я снова пришел к дому Кондратьева и увидел на его месте пустырь. Мне хотелось крикнуть в про-

странство: «Все равно мы вас знаем, мы вас помним, Иван Кузьмич, мы любим и поем ваши песни. Мы вас помним!» Но для того, чтобы иметь на это право и чтобы это было правдой, надо сделать хотя бы минимум: переиздать «Седую старину Москвы», ведь она не утратила своей познавательной ценности и поныне, и не скрывать при напечатании его песен имени автора. Короче — действительно помнить!

ГРАНИ ТАЛАНТА

Какой личностью был известный русский писатель Леонид Андреев, по-настоящему я понял только в Орле с его неоцененными еще как следует заповедными местами...

Вторая Пушкарская выглядит примерно так, как полсотни, а то и сотню лет назад. Одноэтажные домики почти сплошь со ставнями, между домами — длинные, крашенные в один цвет с домом заборы, за которыми видны сараи, навесы, амбары. Многие из ставен недавно покрашены в яркие, радующие взгляд цвета. Оттененные красками ставен, по-иному смотрятся окна. Ставни далеко не всегда лишь декоративная деталь, с наступлением темноты многие их закрывают, как и при дедах. Это не отгороженность от мира, а вполне естественное желание покоя и тишины на ночь...

Самое приятное в таких прогулках, как моя, самому, не спрашивая, найти нужный дом. Ты его должен узнать, он должен сказать о себе сам. Он, конечно, и говорит, но ты уловишь это, если настроен на нужную волну. А если не настроен, если вообще многое в жизние тебе не интересно, пройдешь мимо...

Дом Андреева издали бросается в глаза. Вот он! С крылечком, весь в узорах резьбы, прочен, видимо, построен: пятью окнами смотрит на тихую, как и прежде, улицу.

Первое впечатление — желание порадовать глаз прохожего и украсить собою землю. По-моему, первым человеком из полулюдей, полуживотных стал тот, кто, кроме практически необходимого для жизни, сделал как будто совсем ненужное: прикрепил ветку у входа, украсил крышу изображением солнца или птицы... Началось освобождение от гнета суровой необходимости,

можно было сделать что-то сверх, для души. И тогда — появилось искусство.

Я шел с сомнением: пожелают ли впустить постороннего? Но встречают меня на редкость радушно и приветливо, как будто ждали. Впрочем, экскурсантов здесь действительно ждут: на столе лежит обычная ученическая тетрадь, куда посетители записывают свои впечатления, а кто-нибудь из старших, кто в эту минуту посвободнее, покажет вам дом и обширную усадьбу, где провел детские и юношеские годы известный русский писатель Леонид Андреев.

Построенный в 70-х годах прошлого века, сменивший не одного хозяина, дом внутри несколько перестроен, но до сих пор удивляет своей прочностью, добротностью, хорошей слаженностью частей и целого. Веранда, лестница на чердак, спуск в огромнейший и глубокий подвал, светлые комнаты...

В своем дневнике (отрывки из него опубликованы в сборнике памяти Л. Андреева «Реквием», изданном «Федерацией» в 1930 г.), к сожалению, малоизвестном, что дает мне право на пространную цитату, Леонид Андреев с любовью вспоминал жизнь в этом доме: «Я помню мои детские впечатления огромности от орловского дома и сада, хотя и дом и сад были очень небольшие: шесть комнат из десяти свободно уместятся в одном моем кабинете*. Помню, что в течение многих лет я все еще не мог исследовать как следует все таинственные углы, чердаки, подвалы и сараи, привыкнуть ко всем заворотам, каждый раз открывающим новый пейзаж, пересмотреть все вещи (сломанные лопаты, брошенные бутылки, обломки чего-то), составляющие наше. Взрослые называют это одним словом «мусор», а для меня каждый ржавый гвоздь имел свое лицо и подразумеваемое имя. И конечно, отец сам не знал, какой красивый и необыкновенный вид имеет его кабинет, если смотреть на него из-под стола».

Стоят на усадьбе многочисленные хозяйственные постройки, в саду и во дворе высятся еще могучие деревья... Отец писателя делал детям необычные подарки.

---

* Необходимо помнить, что, живя в Финляндии, Леонид Андреевич пережил увлечение «гигантоманией»: дом был громаднейший, зимой его нельзя было как следует натопить, кабинет неоправданно большой, с огромными окнами, письменный стол размером чуть ли не с биллиард. *(Примеч. авт.)*

В день ангела, к примеру, дарил сыну яблони. За ними нужно было ухаживать и растить. Такое мог придумать благородной души человек...

Живущие ныне в этом заповедном доме берегут и его и усадьбу. Недавно пришлось из-за ветхости снести двухэтажный сарай. Прежде чем это сделать, его тщательно сфотографировали, снимки можно посмотреть в любезно предлагаемом альбоме. Новый сарай выстроен на месте прежнего. Такой же.

Капитолина Семеновна Свиридова, ставшая моим гидом по дому и усадьбе, очень жалеет, что мысль завести тетрадь для записи впечатлений пришла не сразу.

— Сколько людей побывало! Сколько могли оставить заметок!

Я выписал некоторые из записей. «Очень рад и благодарен за возможность, данную нам посетить этот памятник русской литературы. Русское спасибо! 9 июля 1967. Супруги Лопатинские из Парижа».

Группа студентов и преподавателей Воронежского педагогического института «...выражает восхищение и глубокую благодарность владельцам домика, которые в течение полувека бережно сохраняют дорогое для русского сердца место, связанное с одной из оригинальнейших страниц русской культуры. Большое спасибо!»

Лишь в Орле мне стало как-то особенно ясно, что мы не имеем другой раз достаточно четкого и полного представления об известных наших писателях. То, что может дать его — рукописи, личные вещи, обстановка, рисунки, фотографии — рассеяно по свету, разбросано по музеям, иное хранится в запасниках. Одному человеку трудно, а подчас и просто невозможно обозреть их и слить в единое целое.

Это чувство я испытал и в доме Андреева, и в музее писателей-орловцев, и в музее Тургенева, и роясь в старых изданиях у себя дома.

В музее писателей-орловцев, размещенном в особняке Грановского, и в музее Тургенева вы можете увидеть многочисленные рисунки Андреева, портрет Толстого его работы... Художник! И, как видно, совсем неплохой.

В фондах музея Тургенева я долгое время рассматривал цветные диапозитивы, снятые Леонидом Андреевым. Сначала все не верилось: какая могла быть цветная фотография в начале века? Может, просто раскрашивал черно-белые фотопластинки? Но, нет! Самая

настоящая цветная фотография... Каждая подписана. Вот одна из них, называется «Дом и дым»: в доме топят печь, из трубы валит серо-белый дым, едва заметно подкрашенный лучами заходящего солнца... На переднем плане большой сугроб... Очарование зимнего вечера...

До сих пор стекло сохранило тонкие, словно акварельные, краски великолепно выбранного простого сюжета. Тот же вкус и сдержанность в других снимках — «Радуга», «Маки», «Дверь в кабинет», «Стол в библиотеке»...

Диапозитивы эти были предназначены, видимо, не для проекции, а для рассматривания в стереоскоп: они парные. Размер каждого снимка — 9×9 сантиметров. Не каждый профессионал может добиться такого качества художественной фотографии.

Сын писателя, Вадим Леонидович, в своей книге «Детство» сообщает некоторые подробности занятий Леонида Андреевича фотографией. Новому увлечению писатель отдался, как и всему новому, всем существом. При этом «гигантомания» сказывалась и здесь: пластинками черно-белыми и цветными заполнялись целые шкафы, а сам фотограф просиживал в лаборатории часами. И в этом — проявление увлекающейся натуры Леонида Андреева.

Профессионализм и мастерство в занятиях цветной фотографией и такое же серьезное отношение к совсем новому виду искусства, тогда, собственно, всего лишь аттракциону, — синематографу.

У себя дома я прочел в старом, теперь уже мало кому известном «журнале искусств» «Пегас», во втором номере за 1915 год, высказывание Леонида Андреева о кинематографе. Уровень многих кинолент того времени заставлял серьезных людей сомневаться в будущем нового технического средства. Пошлость, безграмотность кинопроизведений, рассчитанных на весьма низкий вкус, ужасала настоящих художников. Чего стоили, к примеру, одни названия кинофильмов или, как тогда говорили (и снова начали говорить сейчас), лент: «И сердцем, как куклой играя, он сердце, как куклу разбил», «Веселый мертвец», «Рогоносец», «Ловелас», «После смерти», «Ямщик, не гони лошадей» и многие другие в том же духе. Резко критикуя состояние современного ему кинематографа, Леонид Андреев прозорливо писал:

«И при всем том, я очень люблю кинематограф и верю в его будущность не только огромную, но колоссальную.

Заключающиеся в нем возможности неимоверно велики, ему — кинемо — суждено стать в том новом обществе, которое придет на смену нашему разрушающемуся миру, — языком мирового общения, орудием сближения людей и народов, новым фундаментом для истории и науки, огромным зеркалом-памятью, которое запечатлеет для человека все проходимые им пути».

Не каждый из знаменитых в то время людей мог написать такие строки, возложить на новое изобретение такие надежды, многие из которых кинематограф в своем историческом развитии с честью оправдал. Это высказывание, представляется мне, мог сделать человек не только талантливый, умный, но и прекрасно знающий технику и художественные возможности фотографии, основы «кинемо».

Статьи по различным вопросам и рассказы, разбросанные по журналам и таким образом неизвестные широкому читателю, могли бы дать дополнительные штрихи к портрету писателя.

Мне хочется сказать лишь об одной из статей, малоизвестной, но, пожалуй, заслуживающей нашего внимания.

В 1906 году издательство «Шиповник» подготовило к выпуску «Историко-революционный альманах на 1907 год», своеобразный календарь революционных событий. Наряду со статьями А. Луначарского, Ю. Стеклова, А. Куприна и других в календаре была и статья-некролог Леонида Андреева «Памяти Владимира Мазурина». Владимир Мазурин — революционер-студент, повешенный во дворе Таганской тюрьмы, в одиночке которой сидел и писатель, брошенный туда за предоставление своей квартиры для нелегального заседания ЦК РСДРП. Революционная волна, достигшая, как известно, вершины в 1905 году, в 1906 и 1907 годах стала спадать, но Леонид Андреев тем не менее успел отдать дань и революционным событиям и его деятелям.

Альманах этот не увидел света: весь тираж был уничтожен полицией. В 1917 году альманах был переиздан, но я его никогда не видел у библиофилов: видимо, тираж был небольшим, и его разметало революционное время. Во всяком случае, о нем пишут как о раритете. Но мне выпало великое счастье библиофила —

один из немногих экземпляров первого издания, уцелевших от уничтожения, оказался в моей библиотеке.

С каким сочувствием и гордостью пишет Леонид Андреев о Мазурине! Приведу лишь конец этой большой (четыре страницы) статьи:

«Да, он умер спокойно. Бедная Россия! Осиротелая мать! отнимают от тебя твоих лучших детей, в клочья рвут твое сердце. Кровавым всходит солнце твоей свободы, — но оно взойдет! И когда станешь ты свободна, не забудь тех, кто отдал за тебя жизнь. Ты твердо помнишь имена своих палачей — сохрани в памяти имена их доблестных жертв, обвей их лаской, омой их слезами. Награда живым — любовь и уважение, награда павшим в бою — славная память о них. Память Владимиру Мазурину, память».

Жаль, что эта статья не вошла в двухтомник Л. Андреева, вышедший в 1971 году в издательстве «Художественная литература». Это небольшое по объему произведение стоило того, и оно прибавило бы новые краски, новые штрихи к портрету Леонида Андреева, художника сложного и противоречивого.

Когда-нибудь будет выпущено и более полное собрание сочинений писателя, а личные вещи его, обстановка, картины, рисунки, фотографии, диапозитивы будут собраны в одном месте, быть может, в Орле, и тогда мы сможем составить цельное представление о личности и гранях этого таланта.

ПОЭТ, ИЗДАТЕЛЬ, ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК

Почти все писатели старшего поколения знали Петра Ивановича Чагина — участника Великой Октябрьской революции, известного партийного деятеля, организатора издательского дела в стране, журналиста, в разное время главного редактора издательств и периодических изданий, директора издательств. Но старшее поколение постепенно уходит, а будут ли знать о Чагине те, кто приходит на смену?

Скупые сведения о нем можно найти в газетах и журналах, есть статья в «Краткой литературной энциклопедии». Однако эти материалы, естественно, мало говорят о личности Петра Ивановича, о бесконечной веренице дел, которыми была заполнена жизнь неистового ревнителя литературы. К счастью, его вдова Мария

Антоновна Чагина сохранила богатый архив мужа. Пользуясь любезностью Марии Антоновны, я выбрал из множества несколько документов, которые рассказывают о фактах малоизвестных, а может, и совсем неизвестных читателю и таким образом дополняют портрет Петра Ивановича.

Вот сатирический журнал «Желонка», типа «Крокодила», апрель 1924 года, № 7. Немного найдется людей, кто помнит ныне этот журнал. Петру Ивановичу как редактору, видно, мало было забот и хлопот по газете «Бакинский рабочий», и он создает и редактирует республиканский сатирический журнал, сумев привлечь к сотрудничеству в нем не только местные литературные силы, но и лучших сатириков Москвы: в номере — несколько рисунков Константина Ротова, стихи Михаила Пустынина.

Отличительными чертами Чагина-издателя были не только инициативность, размах, талант организатора, но и умение привлечь к общему делу писателей и художников своим обаянием, личными качествами. Известно, что Петр Иванович — автор многих статей, передовиц, воспоминаний, предисловий к книгам, но он еще был, оказывается, поэтом.

Вот два небольших пожелтевших от времени листочка... Два стихотворения. Под одним подпись — Сергей Есенин, под другим только — С. Е. Прежде всего привлекает внимание, конечно, первое. Привожу его:

Очарованье вечера, что снами
Сберег до солнца. Золото лучей
В лазури зимней. Слившись с небесами,
С зарей, с огнем — восторг все горячей.

И вдруг напев в кадильном фимиаме,
И пламя бьет из восковых свечей,
А воск, в гробу застыв, живых очей
Залил навек угаснувшее пламя.
Так — солнце, юг; благоуханье роз,
И кипарисы, и узор магнолий.
Очарованье вечера. И — боли
В груди нет прежней... А наутро пес
У ног завоет. Вынесут с постели —
Ах, где ты, где? Жива ли в самом деле?

Сергей Есенин

Но в будущее Полное собрание сочинений Есенина оно не войдет, написано не Есениным, а Чагиным, хотя

подпись под ним не вызывает ни малейших сомнений в своей подлинности.

В 1924 году в Баку приехал Есенин. Как всегда при встречах, друзья говорили о поэзии, Есенин по просьбе Петра Ивановича читал свои новые стихи. Чаще всего для этих литературных вечеров собирались в Мардакянах, на даче под Баку.

— Петр Иванович по скромности своей, — говорит Мария Антоновна, — никогда не рассказывал мне о том, как Есенин удостоил своей подписью его стихи, но знакомый однажды признался, что поэт прочел их и воскликнул: «Это так хорошо! Давай я подпишу!»

Конечно, Есенин по доброте душевной мог несколько переоценить достоинства этого сочинения своего друга. Но так или иначе, подпись Есенина под стихотворением Чагина выражает полнейшее доверие и глубокое уважение к нему поэта.

Петр Иванович не выпустил ни одной поэтической книги. Его стихотворения можно встретить в газетах и журналах 20-х годов, в том числе и в «Красной панораме». Но непосвященному и в голову не придет связать их авторство с Чагиным: все они подписаны псевдонимом «Ник. Алексеев». А казалось бы, чего проще было издателю тиснуть книжку-другую стихов собственного сочинения? Не считал для себя возможным.

В архиве Марии Антоновны сохранилась целая тетрадь его поэтических произведений, относящихся к 1916 году. Писал Петр Иванович стихи, как уже сказано, и позднее. Через всю жизнь пронес он любовь не только к поэзии, но и собственно к стихотворчеству, ни разу не дав повода сказать о себе, что он поэт.

А вот другой листок, хотя он и подписан всего лишь инициалами С. Е., содержит подлинные стихи Есенина. На нем характерным для поэта почерком написано стихотворение «народное» с разъясняющим подзаголовком «Подражание песенке матери». Если оно и опубликовано в периодике, то малоизвестно. В последнем шеститомном собрании сочинений поэта, которое считается наиболее полным, оно не помещено. Приведу его:

Ехал барин из Рязани,
Полтораста рублей сани.
Семисотенный конь
С раззолоченной дугой.

Уж я эту дугу
Заложить не могу.

Заложить не могу
Ни недругу, ни врагу.

Как поеду на губань,
Соберу я разну рвань.
Соберу я разну рвань,
Собирайте, братцы, дань.

Только рвани нынче нет,
По-другому сделан свет,
И поет гармоница,
Что исчезла вольница.

Руки врозь,
Возжи брось.
Такая досада.
Тани нет, Тани нет,
А мне ее надо.

Прочтя этот набросок, наверное, каждый вспомнит о Татьяне Федоровне, певшей народные песни, от которой будущий поэт и перенял любовь к фольклору, зримее представит себе долгие зимние вечера в заснеженном Константинове... Но, помимо этого, хотелось бы, чтобы стихотворный набросок еще раз утвердил нас в мысли, что появлению шедевров предшествовала долгая черновая работа над формой, техникой стиха. Можно смело сказать, что множество подобных листков, свидетельств упорного труда Есенина, погибли, затерялись для нас безвозвратно. Этот благодаря Петру Ивановичу уцелел.

Страничка, если так можно сказать, творческой лаборатории поэта... Известно, что Есенин до последних дней так и не обрел собственного постоянного угла. В таких условиях нечего было и мечтать о сохранности черновиков, набросков и даже законченных стихотворений, тем более что поэт сам не придавал большого значения своему архиву. Хранящиеся в архиве у Марии Антоновны наброски, многое-многое другое уцелело благодаря вниманию к поэту Петра Ивановича. В годы войны их не раз спасала Мария Антоновна, забирая с собой в бомбоубежища и, наконец, увезя в эвакуацию.

Известно, что Петр Иванович познакомил Есенина с нефтяными промыслами, рабочими, их жизнью, познакомил поэта с государственными и партийными деятелями — С. М. Кировым, М. В. Фрунзе. Один из приездов Есенина в столицу Азербайджана совпал с празднованием Первого мая. В воспоминаниях современников можно найти любопытные подробности участия поэта в

празднике. Так, например, Петр Иванович вспоминает:

«Первомай того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем рабочие, народные гулянья. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими. Они знали его и любили».

Рабочие-нефтяники расположились прямо на траве. Есенин ходил от группы к группе, читал стихи и пел частушки. Владимир Швейцер отмечает, что поэт был оживлен. «Казалось, Есенин, озябший в своем уединении, грелся среди людского множества у праздничных костров человеческого тепла».

Прав Чагин, заметивший, что без многодневного впитывания в себя всего, чем живут рабочие-нефтяники, нельзя было бы создать «Балладу о двадцати шести». В архиве сохранена фотография маевки — прямо на лужайке расположились рабочие и служащие. В их группе угадываются лица Есенина и Чагина. К сожалению, отпечаток технически несовершенен, и утверждения Марии Антоновны, что это именно поэт и его друг, при желании можно оспорить или даже опровергнуть. Но тогда будет закрыт путь дальнейшему поиску. А стоит ли его прекращать? Наоборот, нужно постараться найти негатив или более совершенный позитив и установить истину...

Можно сказать, пользуясь современными нам мерками и понятиями, что Петр Иванович был для Есенина как, впрочем, и для многих и многих других прозаиков и поэтов, журналистов и литературоведов человеком, который направлял дружеским советом, помогал издавать книги, человеком, к которому всегда можно обратиться. А это так много!

Когда друзья расставались, Петр Иванович не оставлял Есенина без своего попечительства. Так, из Баку в Москву Чагин пишет:

«Дружище Сергей!

Крепись и дальше. <...> Что пишешь? «Персидские мотивы» продолжай, невредно, но работай над ними поаккуратней, тут неряшливость меньше всего уместна.

Вспомни уклон в гражданственность, тряхни стариной. <...> Не снимайся с места. Жди. Буду — поговорим.
9/VIII. Обнимаю и жму руку.

Твой Петр».

Год не проставлен, но его можно предположительно восстановить по содержанию: начало работы над «Персидскими мотивами». 1924-й.

Даже когда плывет по Волге в Нижний Новгород, Чагин не забывает поэта:

«Дружище Сергей, глубокоуважаемая Софья Андреевна, качу по Волге, сейчас подъезжаю к Саратову. «Казак на север держит путь», а там видно будет. Может, откачусь назад, а то, чем черт не шутит, чего доброго — заверну в Москву.

Буду рад, если телеграфнете до востребования в Нижний или письнёте. Можно в адрес Малышева (Ярмарочный Комитет) для Чагина, вручить по приезде. Клара в Кисловодске. Как мой брат? А вас уже можно, наверное, «проздравить», черт возьми, пора уже. Иначе получится после ужина горчица. <...>

Что нового стихового? Если что есть, пусть Софья Андреевна не поленится перепишет и перешлет в письмишке в Нижний. Только исходите из того, что в Нижнем пробуду недолго.

Приветы! Жму лапы (относится к Сергею) и руки (к Вам, Софья Андреевна!).

Ваш Петр».

К сожалению, записка не датирована, а конверт не сохранился, но, судя по содержанию, она относится к 1925 году. Записки эти хранятся у сына поэта Константина Есенина, которому, пользуясь случаем, я и выражаю искреннюю благодарность за возможность использовать их в статье.

Дружба Есенина с Чагиным, несомненно, сыграла в судьбе поэта, можно без преувеличения сказать, роль большой целительной силы. И эта роль в жизни и творческой биографии поэта, по-моему, еще недостаточно оценена. Известно, как жил Есенин в Москве: часто без собственного угла и часто без тепла дружеской руки, если не считать в последние годы Галину Бениславскую, отношения с которой тоже бывали непростыми. А в Баку его ждали радушие, забота, внимание друга. Поэт не остался в долгу перед Петром Ивановичем и Марией Антоновной, равно привечавшей его, посвятив книгу «Персидские мотивы» своему первому другу-на-

ставнику. После титула идет чистый лист, на котором оттиснуто: «С любовью и дружбою Петру Ивановичу Чагину». Известна также трогательная надпись поэта на фотографии Чагина и Есенина, преподнесенной в подарок Марии Антоновне.

Дело было так. Осень 1924 года. Приближался день рождения Сергея Есенина. Решено было отпраздновать его у Марии Антоновны.

3 октября Есенин и Чагин пришли и вручили хозяйке дома совместную фотографию. На обороте ее рукою Чагина написано: «М. А. Примите дружный дар двух рыцарей пера, скандального Сергея и бурного Петра».

Но это еще не все: под надписью Чагина дарственная Есенина:

«Дорогая Мария Антоновна, сие есть истина и не условно, можно поклясться прелестью Ваших глаз, не забывайте грешных нас. Скандальный Сергей. 3 октября 1924 года».

Истинность отношений проверяется временем. Когда в декабре 1925 года разразилась трагедия и на старое Ваганьково вслед за гробом Есенина хлынул народ, Чагин был рядом с отошедшим другом. Мне долгое время не удавалось установить, кто выступал над открытой могилой. В «Памятке о Сергее Есенине», выпущенной в начале 1926 года по горячим следам событий, составитель пишет, что речей, кроме одного иностранца, никто не произносил, мол, речи были на вечере памяти Есенина. По свидетельству же Марии Антоновны, присутствовавшей на печальном обряде, Чагин выступил с прощальным словом над могилой друга. Интересно было бы установить и фамилии других выступавших. Кто, например, этот безымянный иностранец, упомянутый в «Памятке»?

В 1946 году Государственное издательство художественной литературы выпускает небольшой, с любовью изданный томик «Избранного» Есенина.

Петр Иванович значится всего лишь редактором книги, но без помощи Чагина, его настойчивости и энергии «Избранное» не увидело бы света. В 1953 году издательство «Советский писатель» в серии «Библиотека поэта» выпускает томик «Стихотворений» Есенина, подготовка текста которого и примечания принадлежат Петру Ивановичу. И опять же роль Чагина в появлении книги в свет не ограничилась только указанным в ней.

Теперь, когда сочинения Есенина издаются часто и

миллионными тиражами, когда даже республиканские издательства считают своим долгом выпустить стихи поэта подчас стотысячным тиражом, перечисленные выше томики могут показаться малостью, однако не будем забывать, что они были одними из первых после большого перерыва. А начинать первым нелегко, и с них началось возвращение Есенина народу и литературе.

21 мая 1958 года при участии Петра Ивановича, произнесшего, по признанию многих, замечательную речь на торжественном вечере в Рязанском театре, был открыт едва ли не первый в стране бюст С. А. Есенина. Это была очередная победа поэта над быстротечным временем, победа с помощью верных литературе друзей.

В последние годы жизни Петр Иванович пишет статьи и воспоминания, в том числе и о своем великом друге. Как и издание книг, цель этих выступлений — воздать должное поэту и вернуть народу сына, который с небывалой силой выразил его думы в период, быть может, самой грандиозной и беспощадной во всей истории ломки уклада русской жизни и созидания невиданного доселе общества.

О дружбе Чагина и его товарищеской поддержке Есенина я сознательно рассказал так подробно потому, что дружба эта и поддержка — наиболее яркий пример шефства партийного деятеля и журналиста, поэта в душе, над многими и многими писателями.

...Груда благодарственных писем и писем с бесконечными просьбами.

Максим Горький, он в данном случае подписался — А. Пешков, благодарит Чагина за «Красную газету»: «...образцовая газета, отлично ведется». Корней Чуковский с восхищением пишет: «...и Ваша любовь к книге, и Ваш организаторский талант, и полное отсутствие в Вашей душе каких бы то ни было бюрократических качеств...» Константин Федин отмечает: «...место в истории культуры советской эпохи Вы уже заслужили...» Известный революционный деятель первая советская женщина-посол А. Коллонтай просит «дорогого Петра Ивановича»: «Как-нибудь удосужьтесь заехать ко мне днем или вечером. Я бы очень хотела посоветоваться с Вами о моей книге...»

Нельзя без волнения читать письмо Александры Алексеевны Маяковской, матери поэта. На листке обычной тетради в линейку от руки написано:

«Глубокоуважаемый Петр Иванович!

Приношу Вам свою благодарность за чуткое, внимательное отношение и заботу о нашей семье, в частности, лично обо мне, в тяжелые дни Великой Отечественной войны.

Вы приняли участие в возвращении нашей семьи из эвакуации, а также хлопотали об улучшении снабжения нашей семьи. Полученная мною, при Вашем содействии, лимитная книжка поддержит наше здоровье.

Я верю в скорое окончание войны, когда наша семья снова может принять активное участие в работе, связанной с творчеством и памятью о сыне, которого Вы помните, любите, цените.

С приветом А. Маяковская. 18 февраля 1944 г.»

Не будем забывать, что означали прозаически звучащие сейчас слова «лимитная книжка», «возвращение из эвакуации» в дни войны.

Людмила Владимировна, сестра поэта, входившая в редколлегию однотомника произведений Владимира Маяковского, пишет:

«Директору Государств. литерат. изд. тов. Чагину.

Редакционная коллегия по изданию произведений Маяковского приносит большую благодарность бригаде товарищей Гослитиздата за интенсивную, полную энтузиазма работу по своевременному выпуску однотомника и других произведений, связанных с именем Маяковского. Благодаря внимательной и хорошей работе товарищей однотомник вышел удачным. Мы просим дирекцию Государствен. литерат. из-ва выразить благодарность всему коллективу сотрудников, работающих по изданию Маяковского, в приказе.

По поручению редакционной коллегии Л. Маяковская. 29/IV».

Нет никакой возможности упомянуть — я уже не говорю процитировать — и десятую часть подобных писем. Письма Демьяна Бедного, Сергея Есенина, Александра Серафимовича, Татьяны Щепкиной-Куперник, Теодора Драйзера, Мартина Андерсена-Нексе, Ромена Роллана, Иоганнеса Бехера и многих, многих других. На одной из своих книг Анри Барбюс написал: «Товарищам из «Красной газеты» братски ваш Анри Барбюс».

Писали знакомые, полузнакомые, совсем незнакомые. Зная отзывчивость Петра Ивановича, просили: типографский рабочий — похлопотать об увеличении жи-

лищной площади, писатели — прочесть книгу, выдать аванс, встретить на вокзале... Вот телеграмма в два адреса — Чагину, Фадееву: «Выехали Ташкента женой третьего февраля поездом 73 вагон пять просьба встретить Иоганнес Бехер».

Руководить большим делом, не забывая при этом человека, — большой и не всем присущий дар. Чагин был наделен им в полную меру.

В дни войны Петр Иванович перестраивает работу издательства так, чтобы как можно лучше служить делу победы народа над врагом. Даже в моем скромном собрании есть книги, выпущенные Гослитиздатом в дни войны. Без переплетов, в бумажных обложках, на пожелтевшей бумаге — они все равно дорогие реликвии времени. Выпускалась карманным форматом специальная серия «Писатели — патриоты великой Родины», предназначенная прежде всего для нужд фронта. Одна из книг — М. Ю. Лермонтов. «Избранное». 1942 год. Классики служили общенародному делу.

Сохранилось письмо Н. С. Тихонова Петру Ивановичу от 21 ноября 1941 года с подробным описанием литературной жизни в Ташкенте. В письме Николай Семенович запрашивает: «Не думаете ли Вы переселиться сюда или устроить здесь представительство и агентуру Гослитиздата?» Однако и Москва оставалась почти все военное время крупным литературным центром. Вот почему Петр Иванович не «переселился» в Ташкент, но, конечно, не забыл писателей, временно там живущих.

Характерно в этом письме Тихонова признание за Чагиным большого организаторского таланта. Всегда, когда нужно было наладить издательское дело, вспоминали о Петре Ивановиче Чагине. Так было в Баку («Бакинский рабочий»), в Тифлисе («Заря Востока»), в Ленинграде («Красная газета»), в Москве (несколько издательств).

Естественно, что в день своего 50-летия, в 1948 году, Петр Иванович получил около 600 приветственных телеграмм и писем. В Доме литераторов, тогда еще небольшом, был устроен юбилейный вечер с обязательными в таких случаях речами, преподнесением адресов и подарков. На одном из них мне хотелось бы остановиться. Художник Д. Даран преподнес небольшой альбом «Юбилейные кроки на вечере Петра Ивановича Чагина в клубе писателей 24/VI-48. Д. Даран».

В «Кроках» — портреты акварелью, вернее лишь наброски портретов некоторых из присутствовавших на вечере: Н. Ашукина, Е. Никитиной, самого П. Чагина. Но, странное дело, фамилии всех кончаются на «э», которое выделено художником: Ашукинэ, Никитинэ, Чагинэ. Это, очевидно, отзвуки давнишней легенды, дошедшей и до наших дней, о том, как Есенин принес Чагину стихи, начинавшиеся строчкой: «Чаганэ ты моя, Чаганэ...» и как Чагин не счел возможным в таком виде их печатать: редактор сам себя рекламирует! Поэт будто бы изменил букву «ч» на «ш», но от своего не отступил: как мы знаем, посвятил весь цикл «Персидских мотивов» своему другу.

Я знаю и другие литературные произведения, посвященные Петру Ивановичу. Это миниатюры В. Лидина и В. Субботина собственно о Чагине. А книги советских и зарубежных писателей с автографами могли бы составить длинный список. Ограничусь опубликованием лишь двух. Вячеслав Шишков на книге «Гордая фамилия» пишет: «Петру Ивановичу Чагину, благому прокормителю нас, сирых и убогих — от любящего его автора. Вяч. Шишков. 23/VIII-43. Москва».

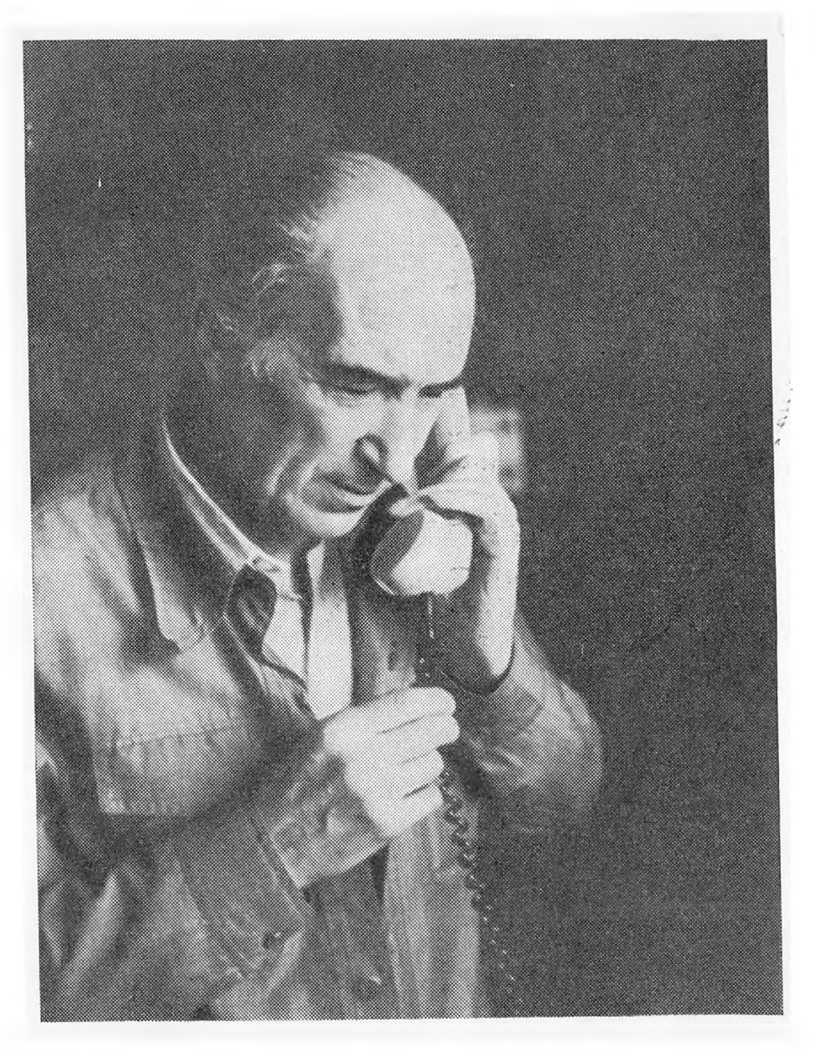
Однако не следует делать вывод, что Чагин пользовался любовью и авторитетом у писателей за то только, что был добр ко всем без разбора. О, как он умел разговаривать с автором, отстаивая интересы литературы от посягательства серости и убожества! Как мог молча посмотреть — уж лучше сказал бы что! Пожалуй, точнее и глубже всех выразил чувства, которые испытывает автор, дарящий книгу Чагину, Василий Субботин — на «Книге моих стихов» четким почерком выведено: «Дорогому Петру Ивановичу Чагину с давнишней любовью. Василий Субботин.

Петр Иванович, поэты должны поневоле теряться, подписывая Вам свои книги, помня о том, что сам Есенин посвятил Вам лучшую из своих книг. В. С. 9 июня 1965».

Сказано отлично.

В СТАРОМ КРЫМУ

Неподалеку от Коктебеля, в пыльном и душном летом Старом Крыму, далеко от моря и где ничто даже не напоминает о нем, жил Александр Грин. Мне довелось

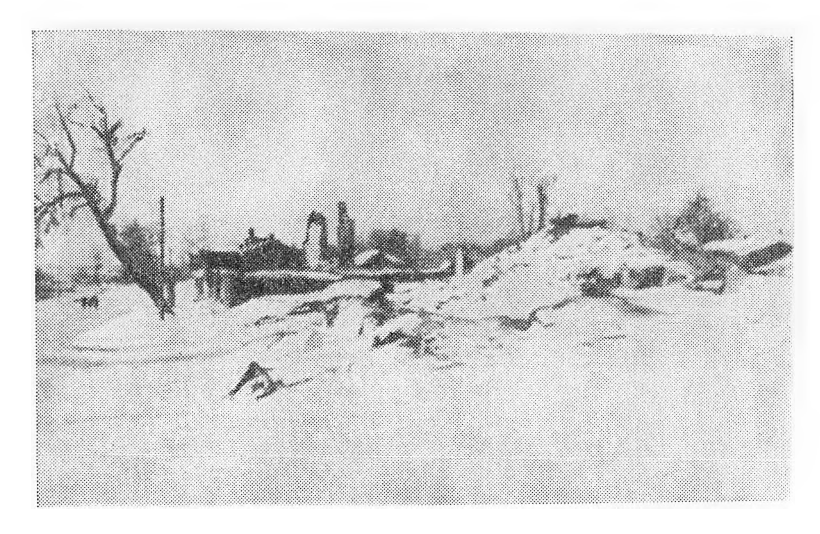


Сергей Федорович Антонов. Последняя фотография, 1984 г., октябрь.



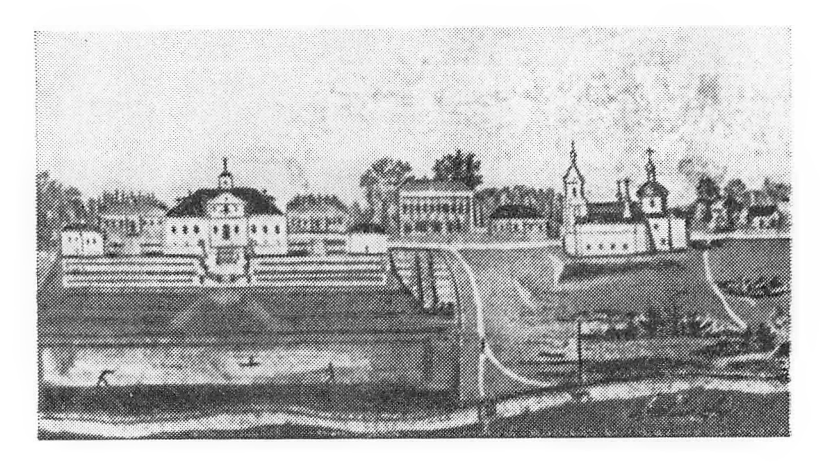
Карачев, снимок начала века.

Карачев, Первомайская, 85. 1943 г.





Д. Фокин-Уральский (справа).

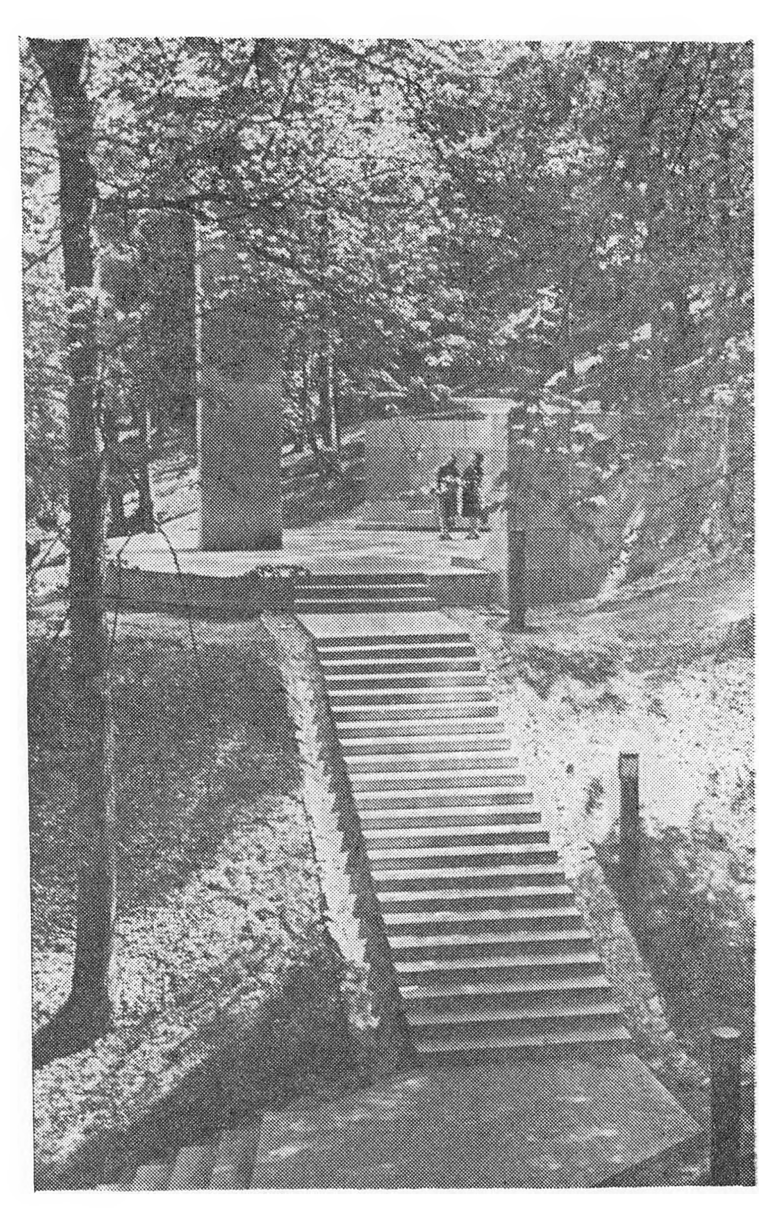


Село Леоново в конце XVIII — начале XIX века.

Село Леоново, снимок 60-х годов.



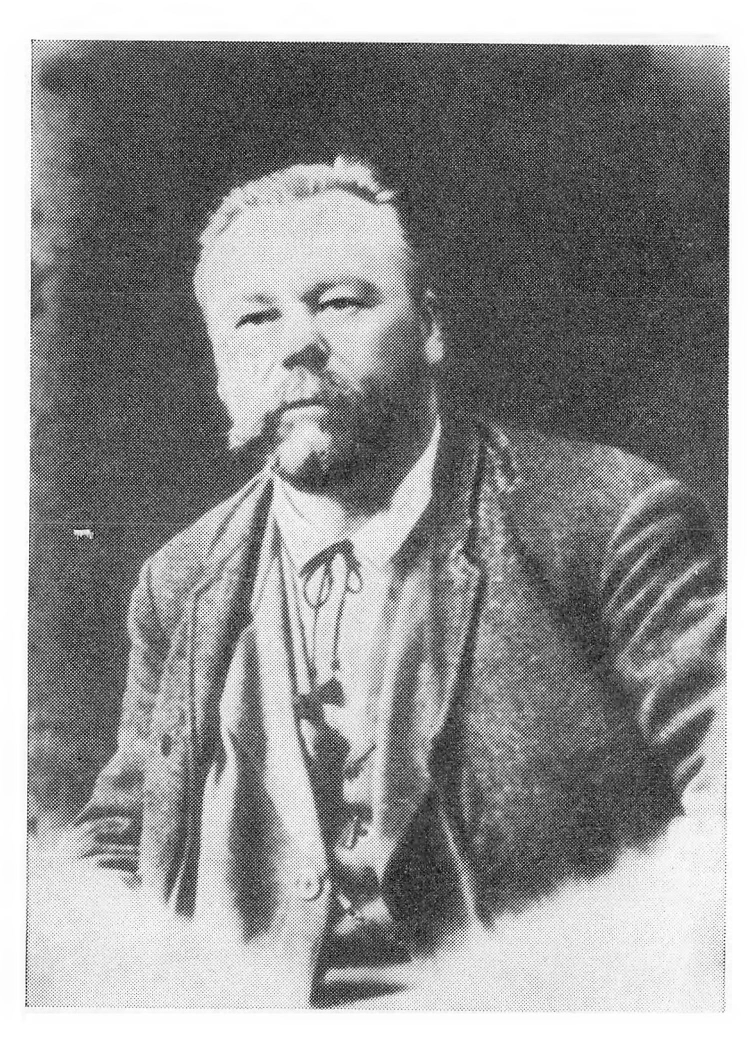
Продукция Никольского рынка.



Памятный знак на месте клятвы Герцена и Огарева.

Фрагмент знака.

Остатки памятного знака на месте закладки Витбергова храма.



И. К. Кондратьев.

Иван Кузьмич Кондратьев

[illegible]

Странички автобиографии И. К. Кондратьева.

Дом Леонида Андреева в Орле.

[illegible] По приговору [illegible] повѣшенъ Владиміръ Мазуринъ въ Москвѣ.

Памяти Владиміра Мазурина

[illegible]

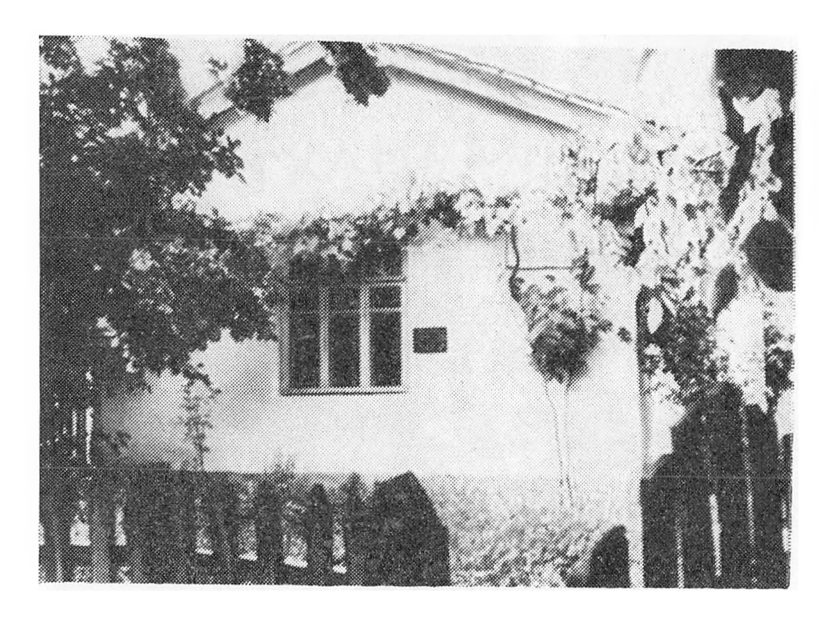


В. Мазуринъ.

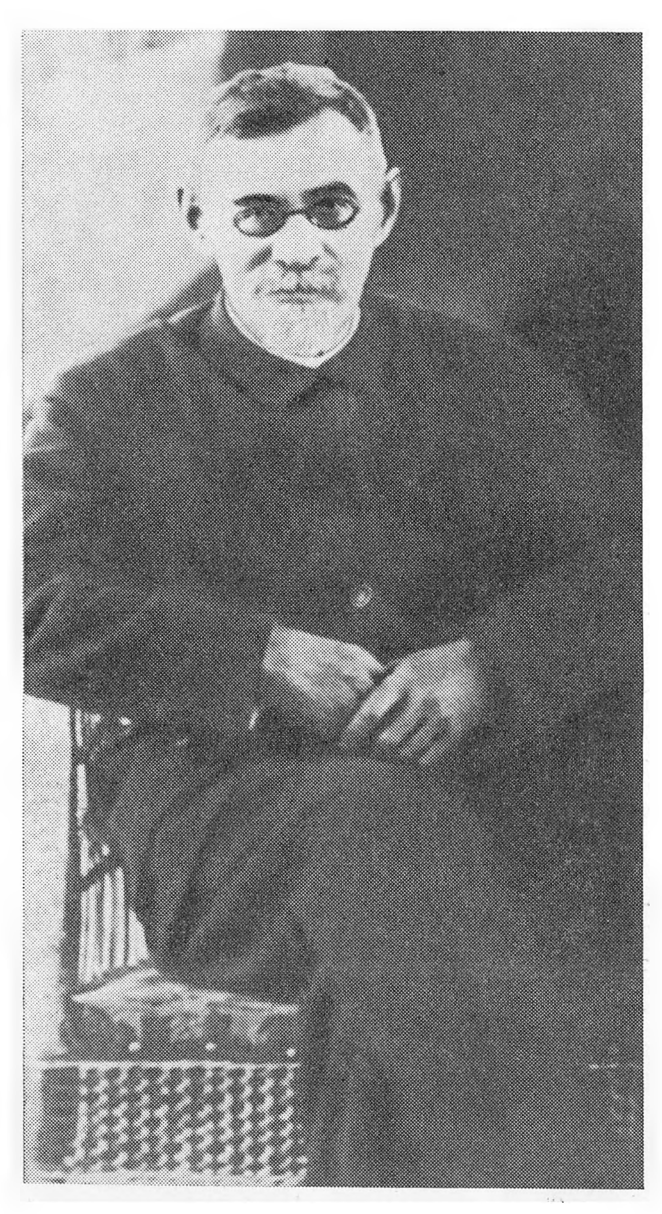
[illegible]

Фрагменты статьи Л. Андреева о Мазурине.


историко-революціонный
АЛЬМАНАХЪ
подъ общей редакціей
В. Л. Бурцева
Литераторы:
Г. Абрамовъ
Леонидъ Андреевъ
В. Бурцевъ
В. Водовозовъ
В. Голубевъ
А. Купринъ
Е. Кускова
А. Луначарскій
Н. Морозовъ
В. Орловъ
В. Панкратовъ
С. Прокоповичъ
Н. Русановъ
В. Смирновъ
Ю. Стекловъ
А. Федоровъ
В. Черновъ
Е. Чириковъ
П. Щеголевъ
Художники:
Б. Анисфельдъ
И. Билибинъ
З. Гржебинъ
М. Добужинскій
Б. Кустодіевъ
Е. Лансере
С. Чехонинъ



Дом Александра Грина в Старом Крыму, 50-е годы.



Николай Герасимович Мелентьев, 30-е годы.

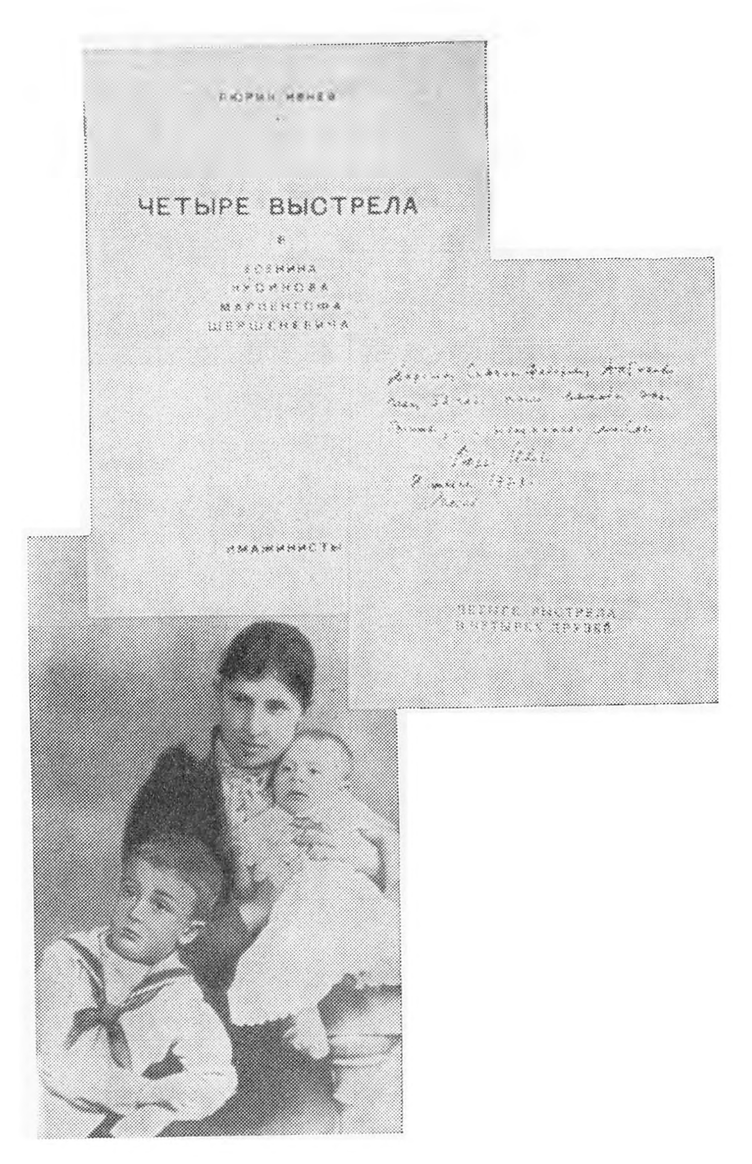
Профессор Николай Михайлович Иезуитов.



Группа ветеранов вгиковского ополчения, 1981 г.



Павел Радимов, Малеевка, 60-е годы.



Автограф Р. Ивнева. Фотография, подаренная Р. Ивневым.

побывать в этом городке и в самом начале пятидесятых годов, и спустя пятнадцать лет, в 1967-м.

Было время, когда Александра Грина не издавали. Ходил он и в безродных космополитах, и в беспочвенных романтиках, считался и внутренним эмигрантом, и писателем без отечества. «Никому не приходило в голову, — писала О. Воронова в журнале «В мире книг» (1965, № 11), — задуматься, какую роль он (Грин. — *С. А.*) играет в русской литературе». Однако это не совсем так. В мрачные для творчества писателя годы Военное издательство рискнуло выпустить небольшую книжечку его рассказов с предисловием Константина Паустовского, в котором он высоко оценил произведения Грина. Правда, на книжку не замедлила откликнуться критика. Досталось и Грину, и Паустовскому, и издательству. Паустовскому, пожалуй, больше всего. Но все-таки — «приходило»!

Естественно, что такое отношение к Грину отражалось на всем, что связано с именем писателя и его творчеством...

В странном виде предстало перед нами последнее пристанище Грина в Старом Крыму. Домишко недавно побелен и снаружи и внутри... Пола, насколько помню, нет... Пустота... —То, что было здесь недавно — похожее на курятник, — уже не существует, а нечто другое еще не создано. Да и этот немаловажный акт — превращение курятника в дом — совершен после неоднократных выступлений писательской общественности в печати.

Мы постояли, осмотрели голые стены, вытоптанную у входа в мазанку траву и пошли...

Много раз вспоминаешь Пушкина, и вот теперь снова: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим».

Могила писателя на городском кладбище вызывала чувство горечи и стыда. Кто-то осквернил ее, старательно изрешетив камнями надпись на камне. Ограды нет... Трава...

Прошли годы. В Старом Крыму открыт музей Грина, в издательстве «Правда» вышло собрание сочинений писателя, произведения его переиздают, экранизируют. На стенах кафе, разбросанных по дорогам Крыма, мелькают алые паруса, очертания девушки с распущенными по ветру длинными волосами, других героев произведений радостного и неистощимого романтика. Тысячи экскурсантов направляются в Старый

Крым, притягательная сила которого только в том, что жил в этом небольшом городке — и совсем недолго, около двух лет — писатель Грин.

Отправляюсь с одной экскурсией и я.

После многолетнего перерыва городок, насчитывающий несколько тысяч жителей, показался мне таким же маленьким и тихим, как и раньше.

В домике Грина, отделенном от дороги зеленью и цветами, негде стать. Группа экскурсантов в двадцать человек еле втиснулась и с трудом разместилась в крохотных комнатках с белыми стенами.

Мне приходилось не раз встречаться с попытками — печатными и устными, — попытками, идущими от самого чистого сердца, поэтизировать и уход Грина в Старый Крым, и эту мазанку, и скромный образ жизни писателя в пыльном городке. Не знаю... Мне представляется более справедливым и общественно полезным кричать об этом криком, а не поэтизировать и не умиляться.

Дома-музеи обычно говорят о жизни, интересах, личности писателя прежде всего потому, что эти дома построены или приобретены по их вольному выбору или выбору предков. Дом Чехова в Ялте, староусадебный дом Толстого в Ясной Поляне, дом Есенина в Константинове не случайны в жизни писателей. Домик Грина в Старом Крыму выражение всего лишь лихой необходимости. Нужно было найти пристанище, где писатель, которого не печатают, замалчивают, мог бы просуществовать на скудные средства. На них в большом доме не проживешь, так же, как и в феодосийской квартире. Нищета и голод преследовали писателя. В Старом Крыму все-таки легче.

Эта хатка — так эта... Могла быть и другая, но такая же маленькая и, если мерить все нормальным аршином, просто убогая. Вот и вся разгадка «романтического» характера последнего пристанища Александра Грина.

Библиотеки, непременной принадлежности писателя, в домике нет: средства не позволяли ему собирать библиотеку. Да и вообще ничего нет, кроме необходимейшего из необходимого. Стол рабочий, узкие, удивительно узкие койки, купленные, видно, по случаю, тумбочка, фотографии, портрет Эдгара По. Но в этом пространстве, ограниченном белыми стенами, жил, работал и умер писатель Александр Грин.

Что скажут улицы, тоже случайные для судьбы и личности писателя? Они могли быть совсем другими, имей Грин на то возможность. Могли сбегать к порту, куда причаливают корабли из самых дальних краев и где слышится разноязычная речь. С них мог открываться захватывающий вид на море, синее вдали, зеленое ближе к берегу и коричневатое у самого берега.

Но никакого порта нет и моря нет. Белые домики, деревья, узкая полоска дороги. Тишина.

Однако и эти улицы могут сказать многое. По ним ходил Грин, голодный и больной человек, в руках которого был самодельный лук и стрела. Только Грин, наверное, только один Грин мог думать, что с помощью такого лука удастся подстрелить какую-нибудь птицу и утолить, наконец, нестерпимый голод. Безмерно стыдно и страшно делается, когда представишь себе эту картину. И это было в годы, когда мы заслуженно гордились Днепростроем, гигантскими стройками пятилетки. Максим Горький смог помочь голодному и больному Грину в годы жесточайшей разрухи и не мог — позднее.

В книге о художнике Константине Богаевском, с которым был дружен Грин, автор, Ольга Воронова, пишет: «...Грины жили в тяжелой непрекращающейся нужде. Сохранилось одно из писем Грина к Богаевскому: «Прямо скажу, изнуждались так, что я решил съездить в Москву, уторопить получение. А потому не сможете ли вы выручить нас — не лично, нет, но путем какого-нибудь знакомства на сумму в 50 рублей на 10 дней с благодарностью», — еженедельно встречаясь с Константином Федоровичем, писатель не нашел в себе сил выговорить эти слова и предпочел обратиться к нему письменно; писал медленно, тщательно подбирая выражения, чтобы невзначай не обидеть: «Был бы чрезвычайно обязан — и в равной мере был бы благодарен, если бы, не имея возможности это сделать, вы сообщили бы мне о том без неудовольствия на меня за то, что я затруднил вас...»

И вот — голод, отверженность, болезнь и смерть. Сколько человек брело за его гробом? Кто они? Добрые соседи?

Прошел дождь, когда мы добрались до кладбища на горе. Мокрая трава, мокрые деревья. Извилистая тропка медленно ползет вверх. Безлюдны могилы «незабвенных» и «дорогих», «любимых» и «единственных». Могила Грина окружена людьми так, что сфотографи-

ровать ее мне долго не удается. Свежие цветы на груде других, положенных раньше; на ветках, нависших над каменной доской с портретом писателя и его могилой, несколько мокрых пионерских, повязанных, как и положено, галстуков. На одном из галстуков надпись: «Дорогому писателю от учащихся школы-интерната № 2 г. Симферополя. Звездный поход «Дорогами Октября. 18 июня 1967 г.».

Многозначительные, хотя и случайно переписанные мною слова! Грин, никогда не бывший ни профессиональным и последовательным революционером, ни активным практическим организатором революции и переустройства страны, тем не менее в истории оказался на таком месте, что его нельзя миновать, если идти подлинной дорогой Октября. Хорошие слова...

...Тропка, уже не такая проторенная, не такая заметная, ведет на вершину горы. Здесь романтиками заложен своеобразный памятник Грину. Каждый принес по камню. Хорошо, если эта традиция сохранится. И тогда, если каждый почитатель таланта писателя принесет сюда свою долю, вырастет огромный холм, пирамида. Этот рукотворный монумент лучше всяких мраморных или бронзовых памятников. Мы тоже выполняем свой долг перед памятью писателя.

...Дважды я проделал один и тот же путь. Между первым и вторым посещениями гриновских мест — лет пятнадцать. И в рассказах экскурсоводов, организаторов феодосийского общества «Знание», Грин теперь уже не кто иной, как замечательный писатель-романтик. Определение это «замечательный писатель-романтик» становится самым обычным, к нему привыкли, от частого употребления в объявлениях об экскурсиях, в самих рассказах во время экскурсий оно становится знакомым-знакомым...

Как жаль, что не так было при жизни Грина и еще долго-долго позже...

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

История с продолжением

Все началось с моей поездки на Кубу. Когда летел на остров, решил — ничего записывать не буду и писать о поездке тоже. Но вот прошло время, и меня

вдруг охватила такая тоска по сине-зеленому океану, шумным и пестрым улицам Гаваны, горам Сьерра-Маэстро, похожим на наши Крымские, клочкам земли, где ходили Христофор Колумб, Эрнест Хемингуэй, Владимир Маяковский, Федор Каржавин, Николай Мелентьев «со товарищи», такая тоска, что я взялся за перо. Рассказы или этюды эти были опубликованы в журналах «Наш современник» и «Дружба народов», а тот, о котором речь, значительно позже — словно по указанию перста судьбы — в «Вечерней Москве». Без него дальнейшая история не будет понятна, что и служит для меня некоторым оправданием дать его хотя бы в сокращенном виде.

Пятого июля 1925 года пароход, на котором Владимир Маяковский плыл в Америку, сделал остановку в Гаване, чтобы пополнить запасы угля, и поэт, воспользовавшись случаем, провел день в столице Кубы.

Я вспомнил об этом, когда зашел в порту в пакгауз с раскрытыми настежь огромнейшими воротами. Вот в одном из таких двухэтажных пакгаузов спасался Маяковский, когда хлынул ливень: «Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой воздуха».

По вечерам, когда красное солнце таяло где-то за океаном, я прогуливался по набережной Гаваны, знаменитому Молекону. Обычно один, а иногда с кем-нибудь из товарищей.

На этот раз я был с Павлом Ивановичем, научным сотрудником, приехавшим помогать Кубе. Пройдясь из конца в конец длинной набережной, мы сели на теплый каменный ее парапет, неподалеку от крепости.

Небольшую крепость эту я уже видел десятки раз в натуре и столько же на фотографиях. Она стоит у входа в порт и когда-то прикрывала его своими пушками. Массивная, невысокая, с башенками по углам и плоской крышей...

Я спросил Павла Ивановича, известно ли ему что-либо новое о пребывании Маяковского в Гаване.

— Корней ищите? Родной почвы?.. — заметил Павел Иванович. — Насколько я знаю, не осталось ничего, кроме того, что счел нужным сообщить о себе сам Маяковский. Ни газетных статей, ни интервью, ни заметки... Ничего!

Павел Иванович повернул голову в сторону крепости, смотрел, словно стремясь проникнуть взглядом за ее мощные стены, и наконец проговорил тихо, словно с укором и себе и мне:

— Ведь это все было! Было, а мы ничего не ведаем! Вот вам и родная почва, и корни, и близость истории...

— О чем вы?

— Здесь, в крепости Морро, сидели трое русских. Недавно прочел.

Я пробовал вспомнить: о ком могла идти речь, не знаю ли я хоть что-нибудь об этом? Но нет, я никогда и ничего не слыхал о русских в гаванской крепости.

— Когда же это было?

— В конце того века...

Павел Иванович, привстав, достал из кармана брюк небольшую записную книжку и прочел:

— Петр Стрельцов, Евстафий Константинович и Николай Мелентьев.

До этой минуты, по правде говоря, у меня возникла мысль: а не разыгрывает ли меня мой спутник? Он знает, что я охотник до всяких историй, писатель, почему не подразнить? Но вот названы и фамилии, совсем непохоже, чтобы Павел Иванович мог так шутить.

— Как они сюда попали? — спросил я.

— Очень просто: по зову сердца и по долгу совести, — ответил Павел Иванович и повторил фамилии, чтобы я запомнил их, тем самым давая понять, что они достойны нашей памяти: — Петр Стрельцов, Евстафий Константинович, Николай Мелентьев...

Мимо нас с зажженными фарами проносились машины, громко разговаривая, проходили девушки в юбках выше колен, юноши в светлых рубашках. В сумерках на рейде постепенно растворялась черная полоска американского крейсера-наблюдателя. Гавана зажигала десятки неоновых огней — красных, зеленых, голубых...

— Как-то трудно это себе представить в подробностях, — продолжал Павел Иванович. — Вот все пытаюсь и не могу... Петербург, конец века... Ленин в тюрьме... Уже создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»... Трое друзей, бывших воспитанников Гатчинского сиротского института, рвутся на Кубу: там идет борьба против испанских угнетателей. Друзья хо-

тят помочь кубинцам. В апреле Стрельцов, Константинович и Мелентьев выезжают в Америку...

Из дальнейшего рассказа Павла Ивановича я узнал, что, прибыв в Нью-Йорк в мае 1896 года, друзья связались там с кубинскими революционерами и 8 сентября того же года уже в качестве добровольцев вместе с другими повстанцами высадились на берегу Кубы, в одной из бухт провинции Пинар дель Рио.

— Слушайте дальше... Экспедиция повстанцев под командой генерала Риверы шла на соединение с частями Антонио Масео. Представьте: повстанцы тащили около тысячи винтовок, полмиллиона патронов, две тысячи фунтов динамита, пневматическую пушку... Что это был за поход, можно себе представить из записок Стрельцова...

— Опубликованы?

— Оказывается, давным-давно. В журнале «Вестник Европы». Вот что рассказывает Стрельцов об участниках экспедиции.

Павел Иванович снова полистал записную книжку:

— «Они калечили босые ноги о камни; тяжелые, неуклюжие ящики натирали спины до ран. У них начинались приступы желтой лихорадки: они падали на голые камни и глухо стонали, а здоровые шагали через них и двигались все вперед и вперед, буквально неся на плечах успех освобождения своей родины. Многие во время перехода, т. е. в течение 4—5 дней почти ничего не ели...» Я читаю вам подлинный текст.

Выходит, в своей поездке по провинции Пинар дель Рио я не раз и не два пересек дороги и тропки повстанцев. Я мысленно видел, как измученные, худые шли они, нагруженные ящиками, шатаясь под их тяжестью, как падали, вставали и опять шли...

— Дальше, — неторопливо продолжал Павел Иванович. — Трое друзей в армии Масео... Им все-таки удалось добраться до нее. Петр Стрельцов, Евстафий Константинович, Николай Мелентьев участвуют в боях с испанцами, вместе с другими борясь за свободу Кубы. Не зря они пересекли океан...

Из дальнейшего рассказа Павла Ивановича я узнал, что повстанцы понесли большие потери. Ранен был и Константинович, Мелентьев заболел. Стрельцов остался вместе с ними во Франсиско, лечил товарищей. В середине октября русские добровольцы попали в ру-

ки врага. Испанцы отправили их в город Пинар дель Рио, а затем в Гавану, где и заточили в крепость... О дальнейшей их судьбе мой собеседник ничего не знал...

Вот такой немудрящий рассказ был напечатан в «Вечерней Москве»... Если он и достоин был опубликования, то, пожалуй, только благодаря своей фактической стороне.

И вдруг, совершенно неожиданно — звонок от Надежды Николаевны Мелентьевой, прочитавшей «Вечернюю Москву». Неужели это об ее отце? Откуда я знаю его историю? И у меня вопрос: неужели это дочь того самого Мелентьева? Конец XIX века мне представлялся далеким, туманным, как, например, времена Федора Васильевича Каржавина, побывавшего на Кубе еще в XVIII веке.

С Надеждой Николаевной мы, конечно, встретились, но надо сказать — не сразу: дела, болезни, заботы... Думаю, что за такое время, пока мы собирались друг к другу, Мелентьев «со товарищи» отважился на далекое путешествие, добрался до Америки и наконец попал на манивший его остров... Ну, это к слову...

Я увидел дочь Николая Мелентьева, и первое впечатление, которое и остается на все время: ты давно и хорошо знаком с этой женщиной. Да, это она: живая, открытая, с острым умом, простая в отношениях. Не одно поколение интеллигентов поработало во славу ее, передав накопленную культуру во всем — в большом и малом. Впрочем, в культуре личности не может быть мелочей.

Я увидел фотографии тона сепии, уже начавшие выцветать, документы, пожелтевшие вырезки из газет. Я рассматривал их, и происходило постепенно воплощение отвлеченного в реальное. А волосы-то у Николая Герасимовича, оказывается, волнистые, он в очках с круглой железной оправой, лицо украшает бородка — выглядит гораздо старше своих 22 лет. На толстой и прочной бумаге, тем не менее протершейся на сгибах, орешковыми чернилами проставлено: «удостоен звания учителя сельских и народных училищ», «окончил успешно», «дано февраля 7 дня 1896 г.»

Но не в сельские и народные училища тянуло трех

друзей после окончания Гатчинского сиротского института — на Кубу, и только на Кубу. «Viva Cuba libre!»

Чем все кончилось, изложено мною выше.

Когда их выпустили из крепости, нужно было возвращаться на родину. Как? Надежда Николаевна рассказала, что ее отец зарабатывал на хлеб продажею газет, потом устроился кочегаром на пароход, объездил чуть ли не весь свет, побывал в Полинезии и наконец в начале 1897 года вернулся в Россию, что о Кубе и о своем трудном возвращении из Америки рассказывал детям почему-то скупо и даже неохотно.

По возвращении на Родину Николай Герасимович становится профессиональным революционером, и «участие в революционном восстании против испанского правительства» рассматривалось властями как преступление. Они, располагая материалами осведомителей, считали, что «главный» из трех — Мелентьев. В 1897 году его привлекают к дознанию по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Аресты следуют один за другим: по делу тайной типографии в Новгороде, по делу Тамбовского социал-демократического кружка (в Тамбов, под гласный надзор полиции, его выслали уже в августе 1897 года) он был сослан на три года в Вятку, позже, в Баку, Мелентьев скрывается под именем Антона Фомича Шипилло, занимается журналистикой. Статьи, подписанные «Б. Борисов» и опубликованные в газете «Бакинский вестник», принадлежат перу Николая Герасимовича. Напрасно вы будете искать этот псевдоним в труде всеведущего И. Ф. Масанова «Словарь псевдонимов». Даже этот удивления достойный исследователь не знал, кто скрывается под этим псевдонимом или вовсе не слышал о нем.

По словам Надежды Николаевны, Николай Герасимович все время либо находился под надзором полиции, либо отбывал «срок».

Документы, авторитетные свидетельства, рассказы Надежды Николаевны создают образ удивительного человека. Я беру на себя смелость попытаться сформулировать жизненное кредо Николая Герасимовича Мелентьева примерно таким образом: «Дальше так жить невозможно! Нужно начинать перестраивать мир. Если создалась революционная ситуация на Кубе, поможем и начнем с Кубы! Создаются революционные предпо-

сылки в России, тем более нужно помочь товарищам использовать их, отдать делу освобождения народа все силы!»

После революции он занимает ряд должностей, работает экономистом. Николай Герасимович Мелентьев, персональный пенсионер союзного значения, скончался 5 ноября 1955 года.

О Джоне Риде, Альберте Рисе Вильямсе и других иностранцах-интернационалистах, приезжавших в Россию в переломный момент истории, чтобы словом публициста и практическим делом помочь нашей революции, накопилась довольно обширная литература. Напишем ли книги мы или другие — и как скоро — о Петре Стрельцове, Евстафии Константиновиче и Николае Мелентьеве, приехавших в далекую Кубу, чтобы помочь ее народу в борьбе за освобождение?

Я думаю, что обязательно вспомним о них и подробно расскажем нашим современникам об их славных дедах и прадедах. И сделать это следует поскорее.

Листая страницы...



«ОПЫТ РАССУЖДЕНИЯ...»

Как-то в букинистическом магазине напал я на одну книжку. Привлекла она меня и своей темой, и автографом, и годом издания. Изучить ее в магазине хотя бы в какой-то степени не было никакой возможности: известно, сколько людей толпятся перед прилавком букиниста, особенно в послерабочее время. Но я все же решил купить.

Только дома мог я как следует ее рассмотреть и прочесть полностью автограф.

Обложка — в великолепной рамке. Название: «Опыт рассуждения о русских пословицах». Ниже эпиграф: «Старых людей пословица не мимо молвится». И внизу: «Москва. В университетской типографии. 1823».

На титуле надпись орешковыми чернилами:

«Старинному товарищу и
любезному благоприятелю
Константину Федоровичу
г-ну Калайдовичу
дарит сей опыт свой на
память искренней приязни
и в свидетельство своего уважения
и признательности
сочинитель.
1823
Март 25».

Кто такой Калайдович — известно: русский историк и археограф начала XIX века, автор многих работ по русской и славянской филологии, русским древностям. А вот кто «сочинитель»?

Ни на обложке, ни на титуле автор не обозначен. Но печатное посвящение, в то время довольно распространенный прием обрести покровительство лица власть имущего или выразить самую искреннюю признательность за действительные содействие и помощь в работе, — печатное посвящение книжка содержала. Оканчивалось оно так: «...имею честь назваться, милостивый государь, Вашего Превосходительства покорнейшим слугою Иван Снегирев».

Итак, автор «Опыта рассуждения о русских пословицах» — Иван Михайлович Снегирев, воспитанник

Московского университета и в дальнейшем профессор его по кафедре латинской словесности и римских древностей. Но это — латинская словесность — была, если так можно сказать, службой. А призвание и страсть Ивана Михайловича — в другом.

По своей специальности, —а он двадцать лет читал лекции в университете — Иван Снегирев издал всего лишь три работы с мудреными латинскими названиями, в том числе латинскую грамматику, неоднократно переиздававшуюся. Вошел же он в историю как знаток русских, особенно московских, древностей, русской народной словесности. Это была его стихия, и я не берусь перечислить все, что сделал Иван Михайлович Снегирев в этой области.

Все мы знаем так называемый дом бояр Романовых на улице Разина. И теперь, когда историческое Зарядье после постройки гостиницы «Россия» неузнаваемо изменилось, остался нетронутым этот памятник старины, известный еще и под названием «Музея боярского быта». Так вот, давняя и огромная заслуга в восстановлении в свое время палат бояр Романовых принадлежит Ивану Снегиреву.

Деятельность Ивана Снегирева, которая давала ему подлинное удовлетворение и наслаждение, легко проследить по названиям его книг, некоторые из них я приведу здесь. «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (в 4-х томах, М., 1831 — 34), «Лубочные картинки» (М., 1861), «Русские народные пословицы и притчи» (М., 1848), «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества», «Памятники московской древности» (М., 1842 — 45), «Памятники древнего художества в России» (М., 1850 — 54) и другие работы в таком же духе.

Кроме «Опыта рассуждения о русских пословицах», есть у меня два томика «Русской старины в памятниках церковного и гражданского зодчества» (М., 1848 и 1853), и хотя составлены они, как указано на обложке, А. Мартыновым, текст принадлежит И. М. Снегиреву, сочинителю «Памятников московской древности».

Много примечательного в этих книгах с отличными гравюрами на отдельных листах прочной бумаги. Сравнительно недавно, в тридцатых годах, по неразумной воле исчез с лица земли Спас на Бору в Московском Кремле, древний храм, заложенный еще Иваном Кали-

той в 1330 году, редчайшая реликвия русской истории. Еще во времена И. М. Снегирева Спас на Бору был несколько изменен и некоторые части его уничтожены. Поэтому так ценно для истории архитектуры то, что И. М. Снегирев прилагает к книге «вид Кремлевской церкви Спаса на Бору» — точную копию рисунка, снятого с натуры архитектором М. Ф. Казаковым до изменения и уничтожения отдельных частей.

Подобных сведений и гравюр немало в книгах Ивана Михайловича Снегирева, который горел желанием сохранить для потомства богатство сокровищ национальной архитектуры и истории в их изначальном виде.

Огромнейший интерес и любовь к русским древностям были отличительной чертой этого ученого.

И приведенная в начале статьи дарственная надпись позволяет, на мой взгляд, понять, за что именно признателен Иван Михайлович «старинному товарищу и любезному благоприятелю Константину Федоровичу г-ну Калайдовичу».

Снегирев и Калайдович — почти однолетки: первый родился в 1792 году, второй — в 1793-м. Но Калайдович всю жизнь посвятил археографии и истории: много работал в библиотеках и архивах и искренне радовался, когда находил исторические и литературные памятники, достойные публикации. В частности, Константин Федорович открыл «Изборник Святослава» 1073 года. В пору скептического отношения некоторых ученых к «Слову о полку Игореве» Калайдович горячо защищал подлинность этого изумительного литературного памятника.

Интересна характеристика, данная Константину Федоровичу Калайдовичу известным литератором и историком Михаилом Петровичем Погодиным:

«Не обнимая истории в целом, Калайдович был любителем, знатоком, искателем частностей: рукопись, книга, камень, крест, образ, монета одинаково привлекали к себе его внимание и подавали повод к самым тщательным и подробным исследованиям. Он живмя жил в библиотеках, рылся в рукописях с утра до вечера, посещал беспрестанно всех менял и серебряников, справлялся, записывал, исследовал, читал, работал без устали, в беспрерывном движении, и открытия следовали у него одно за другим».

У Ивана Михайловича Снегирева перед глазами был живой пример самозабвенной отдачи всей жизни од-

ному делу. Не Константин ли Федорович «увлек» Снегирева с пути латинской словесности?

Калайдович умер раньше Снегирева — в 1832 году. Справочники указывают, что Снегирев первый поставил на научную основу изучение русских пословиц, первый обратился к исследованию лубочных картин, более всех своих предшественников потрудился над изучением памятников старинного русского зодчества, но наверное, именно от Калайдовича унаследовал он страсть к «частностям», что очень точно подметил Погодин, продолжил эту работу за двоих.

Чтобы нам, людям века освоения космоса и атомной энергии, предметнее представить эти «частности», эти мелочи, позволю себе привести пример, любопытный документ, хотя он уже и был перепечатан в «Неделе» (1966 год, № 51) из газеты «Московские ведомости». Это эпитафия Л. Ф. Магницкому, «первому российскому арифметику и геометру», чей учебник арифметики сам чуть ли не вошел в поговорку. Скопировал эпитафию с надгробного камня на могиле Л. Ф. Магницкого Иван Михайлович Снегирев. Вот она:

«В вечную память христианину, благочестно, целомудренно, благоверно и добродетельно пожившему Леонтию Филипповичу Магницкому, первому в России математики учителю, здесь погребенному, мужу христианства истинного, веры в бога претвердой, надежды на бога несомненной, любви к богу и ближнему нелицемерной, благочестия по законе ревностного, жития чистого, смирения глубочайшего, великодушия постоянного, нрава тишайшего, разума зрелого, обхождения честного, праводушия любителю, в слугах государям своим и отечеству усерднейшему попечителю, подчиненных отцу любезному, обид от неприятелей терпеливейшему, но всем приятнейшему и всяких обид, страстей и злых дел всеми силами чуждающемуся, в наставлению, в рассуждениях, совете друзей искуснейшему, правды как о духовных, так и гражданских делах опаснейшему хранителю, добродетельнейшего жития истинному подражателю, всех добродетелей собранию, который путь сего временного и прискорбного жития начал 1669 года июня 9-го дня, наукам изучился дивным и неудобовероятным способом, его величеству Петру Первому и великому императору самодержцу всероссийскому для остроумия в науках учинился знаем в 1700 году, и от его величества, по усмотрению нрава ко

всем приятнейшего и к себе влекущего, пожалован, именован прозванием Магницкий и учинен российскому благородному юношеству учителем математики, в котором звании ревностно, верно, честно, всеприлежно и беспорочно служа четырем самодержцам всероссийским и пожив в мире 70 лет, 4 месяца и 10 дней, 1739 года, октября 19-го дня, о полуночи в 1 часу, оставя добродетельным своим житием и благочестною христианскою кончиною пример жития оставшим по нем, по многих и неисчетных мира сего суетных поторжинях *, по шестодневной болезни и которую благочестно скончался, довольно жил себе по заслугам и для памяти вечной, но ах! не довольно по желанию своих присных и для услуг всего отечества; но хотя не к тому учениями, но во царствия небесном бессмертный! Ты же, пришедший, что ищеши в сем? Также жил, ныне же есть прах и пепел: научися убо от сего гроба. Что? Каков ты, таков он был, а каков он ныне, таков ты будешь и всегда иищися на смерть быть:

Понеже мы подвержены вси единой смерти:
Не вестно, когда тя похощет стерти.

Преставлявшемуся же исполняя взаимную христианскую любовь, помолимся прилежно: да человеколюбивый бог господь, по неизреченному своему к роду человеческому милосердному снисхождению, того душу преставлшася, вольная и невольная согрешения, яко человека, немощи и падению бывши подвержена, вселит в недра Авраамле и дарует вечную жизнь, питающую души приведенных неизреченным умным светом.

И сотвори ему и пр.

Не по должности надписал горько-слезный Иван, нижайший раб, сын ему любезный».

Что ни говорите, а эпитафия действительно редкостная.

И хорошо, что она сохранена. Точная копия надписи с надгробного камня имеет интерес не только как своеобразный образец уникальной эпитафии и изящной словесности, но и как документ, дающий некоторый познавательный материал: сведений о Леонтии Филипповиче Магницком сохранилось совсем немного.

* Смятениях.

Теперь, к сожалению, нет не только этого камня, но и церкви, одной из древних в Москве, где был похоронен Леонтий Магницкий. Больше того, само место, где стояла церковь, на углу Лубянской площади (теперь Дзержинского) и Мясницкой улицы (теперь Кирова) неузнаваемо. Интересно, что впервые об этой церкви и похороненном в ней Магницком я прочитал в «Седой старине Москвы» Ивана Кузьмича Кондратьева, о котором я рассказываю в очерке «По диким степям Забайкалья». Наверное, его книга еще не раз будет выручать меня и всех тех, кто интересуется историей нашей столицы.

Так надпись, сохраненная для нас Иваном Снегиревым, заставила вспомнить и о жизненном подвиге, и о последнем прибежище Леонтия Магницкого.

Ну а книга, с которой я начал рассказ? Книга, подаренная им «любезному благоприятелю» Константину Федоровичу Калайдовичу, впоследствии оказалась, как свидетельствует экслибрис, в библиотеке В. Л. Снегирева. Очевидно, после смерти Калайдовича она, как дорогая реликвия, была возвращена или самому Снегиреву, или его наследникам.

Мне приятно брать в руки эту книгу, листать ее, вчитываться в карандашные пометки, сделанные аккуратным почерком Ивана Снегирева.

Живая история...

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ...

На полке у меня давно стоял томик в красном переплете, и я все собирался заняться им, но откладывал из-за других дел.

Книга называется «Стихотворения Н. С. Стружкина». Издательство не указано, но зато проставлено: «Москва. Типография Н. И. Пастухова, Ваганьковский пер., собств. дом. 1886.»

Наконец наступил черед и этого томика. В справочнике «Русские книжные редкости» /Москва, 1902/, который, кстати, и сам стал библиографической редкостью и даже фототипическим способом переиздан в ФРГ, про эту книгу под номером 598 сказано:

«Напечатана была в небольшом количестве экземпляров и так как второго издания не вышло, то книга

сделалась редкой. Ценится до 5 рублей». Вспомним, что в те времена корова стоила 10—15 рублей.

Мой экземпляр побывал в руках цензора. На титуле — две бирюзовые печати «Главного управления по делам печати» и надписи чернилами кого-то из начальства по драматической цензуре: «Гербовый сбор уплочен» и «К исполнению дозволено. С. Петербург 14 марта 1889 г.». Книга прошита толстым шнуром, и на последней странице — сургучная печать того же «Главного управления».

Разрешение «К исполнению дозволено» воспринимается не без горечи: многие страницы книги крест-накрест перечеркнуты ярко-красными чернилами цензора. Каких же стихотворений коснулась его рука?

Вот произведение «Погибшие создания». Автор прогуливался по улице с одним «моралистом», который, заметив проститутку, счел необходимым высказать в выспренних тонах свое отношение к подобным женщинам и строго осудить их. Автор отвечает «моралисту»:

«Успокойся, мой друг, ради бога!»
Я приятелю кротко сказал.
Ты уж судишь о них слишком строго,
Ты бы гнев свой слегка удержал.
Что караешь ты ту, что сдается
Потому, что ей нечего есть?..
В наши дни, милый мой, продается
Убежденье, и совесть, и честь!
Что творится теперь повсеместно?
Посмотри, оглянись-ка кругом!..
Что у нас не продажно и честно?
Что у нас не подточено злом?

В последующих строфах этого стихотворения автор обличает лиц, действительно заслуживающих самого сурового осуждения: «крупного вора» — взяточника; продажного публициста; знаменитого адвоката, защищающего грязное дело; светского фата, продавшегося богатой старухе, чтобы жить «на барскую ногу»... В конце каждой главки, посвященной подобным «героям», следуют как рефрен строки: «Продается по сходной цене!» или «Все продаст он по сходной цене!» Обличительный пафос этого стихотворения, очевидно, должен был выигрывать при публичном его исполнении, оно рассчитано на чтение с эстрады. «Все продаст он по сходной цене!» — какие оттенки иронии, сарказма, ненависти можно было вложить в эти повторяющиеся строки!

Я мог бы привести и другие стихотворения или строфы, зачеркнутые цензором, но слишком уж их много. Позволю себе еще две цитаты, в том числе несколько строк из большого стихотворения «Звери и люди»:

Чуть не каждый день, наверное, прочитаете в газетах:
Где-нибудь проворовался человек почтенный в летах,
Там директор строит дачу; там смотритель купит дом,
Там вдруг в банк полсотни тысяч внес бедняга-эконом.
Казначей в припадке грусти, обокрадет казначейство;
Там кассир подтибрит кассу: «одолело-де семейство!»
Там уезд придумал землю вполовину сократить,
Чтоб ему в казну налогов вдвое менее платить...

Полностью зачеркнуты такие стихотворения, как «Привет сатире» и «Кукушка». В «Кукушке» автор рассказывает, что он всегда обращается к этой птице за советом: «Отвечает она на мой каждый вопрос замечательно верным ответом».

И спросил я кукушку: «а скоро ль у нас
— Заведутся другие порядки:
— Сколько лет еще ждать нам — пока на Руси
— Лихоимство исчезнет и взятки?..»

И кукует кукушка и час, и другой...
И раз пять я сбивался со счету;
А она мне с укором заметит: — «ну-ну!..
— Признаюсь... ты мне задал работу!!.

Короче говоря, кукушка куковала и утро, и день, и вечер, и ночь, пока не упала обессиленная.

В остроумных, иронических, иногда проникнутых горечью, порою, правда, длинноватых на наш теперешний вкус стихотворениях, автор ополчается на пороки тогдашнего общества. Там, где о них говорится прямо, сильно, недвусмысленно, цензор красными чернилами перечеркивает произведения целиком или отдельные места из них.

Н. С. Стружкин...

Я не знал об авторе ничего. Думая облегчить себе задачу, спросил о нем нескольких писателей и литературоведов. «Стружкин?» — и пожатие плеч.

Один квалифицированный библиограф, когда я спросил его по телефону о Стружкине, не дослышав, долго рылся в карточках, выискивая поэта Ружкина: не приходилось слышать о Стружкине.

Между тем о нем есть небольшая статейка даже в «Энциклопедическом словаре» всеведущих Ф. А. Брок-

гауза и И. А. Ефрона, откуда я и заимствую краткие сведения.

Николай Сергеевич Куколевский (Стружкин — псевдоним), сын помещика Воронежской губернии. Воспитание получил в орловском кадетском корпусе и по его окончании, как сказано в словаре, «недолго служил в военной службе». Очевидно, не имея никакой склонности к карьере военного, поступил... на сцену. Играл в Смоленске, Оренбурге, Казани, Харькове, Киеве, Одессе и Москве. Николай Сергеевич написал «Записки актера», читал лекции о драматическом искусстве, перевел комедию Гете «Совиновники». Надо отдать должное словарю: он упоминает и о том, что Н. С. Стружкин «написал драму «Падший ангел», **неодобренную к представлению театральною цензурою»** (выделено мною. — *С. А.*). Николай Сергеевич, кроме того, издавал рукописный сатирический листок «Шпилька», где публиковал свои юмористические произведения. Печатался в «Искре», «Будильнике», «Зрителе», «Осколках».

Теперь, когда нам известно об артистической деятельности автора, становится понятной надпись чиновника Главного управления по делам печати на моем экземпляре: «К исполнению дозволено». Автор, надо полагать, сам читал свои произведения с театральных и эстрадных в нашем теперешнем понимании подмостков. До появления книги представлял в цензуру стихотворения, очевидно, переписанные от руки.

Николай Сергеевич, как выяснилось, был знаком с Чеховым в пору его первых выступлений в печати, юношески задорного юмора и веселых затей.

Бедный Николай Сергеевич! Ему иногда попадало от Чехова...

Антон Павлович встречался с ним в редакции журнала «Зритель». Обстановку в ней очень хорошо описал Михаил Чехов: «Сюда, как к себе домой, сходились каждый день ее члены, хохотали, курили, рассказывали анекдоты, ровно ничего не делали и засиживались до глубокой ночи. Служитель Алексей раз десять подряд обносил всех чаем...» Здесь «вечно толкались» братья Чеховы, Стружкин, помощник присяжного поверенного Озерецкий...

Стружкин подписывал некоторые стихотворения псевдонимом «Шило», и Антон Павлович, по словам Михаила Чехова, «острил над ним, что это шило ко-

лет не острым концом, а тупым». Зная всегдашнюю тактичность и душевную деликатность Антона Павловича, нельзя сомневаться в том, что говорилось это не зло, дружески... И все-таки определение это нельзя, на мой взгляд, применить к творчеству Стружкина в целом: ряд его произведений остры и колят больно.

В эту пору шуток, веселых мистификаций у помощника присяжного поверенного Озерецкого, упомянутого выше, дела шли неважно: не было адвокатской практики. Рекламы ради у Озерецкого возник фантастический замысел. «Так по его проекту,— пишет Михаил Чехов,— мои братья Антон или Александр, кто-нибудь из них двоих, должен был подать мировому судье жалобу на то, что, будто Стружкин разбил о его голову гитару. Процесс должен был перейти потом в мировой съезд, принять юмористическую окраску и попасть затем в печать прямо из-под пера Антона или Александра, причем в судебном отчете собственного изготовления проектировалось привести и защитительную речь нашего «талантливого и подающего громадные надежды» адвоката Озерецкого».

Конечно, это осталось всего лишь данью бесшабашной фантазии и юмористическим прожектам.

Однако Антон Павлович не забыл Стружкина. В двух письмах мы встречаем упоминание о Николае Сергеевиче. В одном из них, адресованном Ал. П. Чехову и А. И. Хрущевой-Сокольниковой, есть такая шутливая фраза: «Ну отчего бы Вам не написать хоть строчку... (хоть копеечку! — как говорит Стружкин)».

«Копеечка», видимо, была очень дорогой для Стружкина.

Начертанное на книге «дозволение» к публичному исполнению стихотворений давало Николаю Сергеевичу возможность зарабатывать себе на жизнь добавочные копейки. Однако оно последовало лишь 14 марта 1889 года, в год его смерти.

Не знаю... Мне обидно, что современный читатель не имеет представления о жизни и творчестве Николая Сергеевича Стружкина, вряд ли даже слышал о нем. Конечно, поэт не был ниспровергателем основ самодержавия, но его сатирическое осмеяние многих пороков буржуазного общества, любовь к трудовому человеку, забота о будущем России заслуживает, на мой взгляд, памяти потомков.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Был такой поэт — Иван Петрович Мятлев (1796—1844). Его лирические и сатирические стихи, каламбуры ходили в свое время по рукам, их читали в светских салонах, но имени автора многие не знали: свою первую книжку И. Мятлев выпустил анонимно, «в малом числе экземпляров для друзей сочинителя».

В 1840—1844 годах Иван Мятлев выпустил, опять же анонимно, свой главный и, пожалуй, самый талантливый труд: «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже» — веселую, остроумную сатиру в стихах, написанную в форме путевых записок тамбовской помещицы в путешествии по Германии, Италии и Швейцарии. «Сенсации» имели шумный успех.

Поэты, которые знали имя автора шуточных стихов, дружелюбно относились к Ивану Мятлеву. В одном из альбомных стихотворений Лермонтов, между прочим, написал:

Люблю я парадоксы ваши
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
С<мирновой> штучку, фарсу Саши
И Ишки<Мятлева>стихи...

Известно стихотворение Лермонтова, записанное в альбом «автору Курдюковой», и стихотворение, написанное в подражание Мятлеву макароническим стилем, то есть языком, где перемежаются русские и иностранные слова — так, как написаны «Сенсации...».

Ишка Мятлев, далеко не всем известный...

Прошли годы. Сборники стихотворений Ивана Петровича Мятлева, его «Сенсации...» хотя и издавались и даже вышли в Большой серии библиотеки поэтов, все равно редкость сейчас. Да и вспоминают о нем не слишком часто. А есть, между прочим, у Мятлева стихотворение, начальные строки которого знает чуть ли не каждый: «Как хороши, как свежи были розы...» Но спросите десять человек, и не менее пяти ответят, что это написано, конечно же, Тургеневым, что это из его «Стихотворений в прозе». Вот, к примеру, взял я както в руки интересно написанную, содержательную, на мой взгляд, книгу Ник. Яновского-Максимова «Последние годы Багрова-внука», рассказывающую о жизни С. Т. Аксакова в Абрамцеве, книгу, в которой я нашел

много нового для себя, много интересного, и увидел: эпиграфом для одной из глав служат приведенные выше строки И. Мятлева, а подписано — Тургенев. Бедному Ишке Мятлеву опять не повезло. Когда же перестанут «прибавлять» великому Тургеневу и отнимать у «невеликого» Мятлева? А ведь есть у книги редакторы — научный и обычный. Я уже не раз встречал в печати эту ошибку. А между тем есть прямое «указание» Ивана Сергеевича Тургенева на то, что строка эта ему не принадлежит. Вспомните, как начинается это «стихотворение в прозе» у Тургенева: «Где-то, когда-то, давным-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... Но первый стих остался у меня в памяти: «Как хороши, как свежи были розы...»

Мне хочется закончить эту небольшую заметку хотя бы первыми строфами стихотворения Мятлева: «Розы»:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость;
Казалось мне, любовь дышала в них...

Может быть, кому-нибудь захочется прочесть это стихотворение до конца, и он возьмет в руки томик Ивана Мятлева.

КУРСКИЙ УЧЕНЫЙ

Однажды в букинистическом магазине я увидел небольшую книжечку известной до революции детской писательницы Клавдии Лукашевич «Курский астроном-самоучка Федор Алексеевич Семенов». Выпущена она была известным книгоиздательским товариществом И. Д. Сытина в серии «Дешевые издания» наверняка большим тиражом, как все издания этой серии, да еще пятым изданием. Значит, первые четыре уже разошлись. Должен признаться, я впервые услышал о Федоре Семенове и, заинтересовавшись, купил книжечку. Прочел. Как же это я раньше ничего не знал о Семенове? Что я за невежда такой?! Но спросил одного, другого, третьего из своих знакомых, людей достаточно образован-

ных и начитанных, — никто о Семенове даже не слышал...

Удивительный мы все-таки народ! Велика и богата наша культура, и от этого богатства, от пресыщенности, что ли, от сознания, что всего у нас много, происходит иногда атрофия исторической памяти, и мы частенько забываем о том, чем можно и должно гордиться. Как-то я прочел в «Литературной газете» высказывание Индиры Ганди: «В Индии, например, каким бы отсталым ни был человек, он гордится культурой и обычаями своего уголка страны...» Какие замечательные слова! Не вредно бы и нам кое-чему поучиться у этого древнего народа!

Но вернемся к Семенову. Прочтя книжку, я тут же заглянул в «Советский энциклопедический словарь» (М., 1980), надеясь найти в нем что-нибудь о курском ученом. Там представлены многие Семеновы, удостоин упоминания даже атаман, боровшийся в годы гражданской войны против Советской власти, но вот бедняги-курянина не оказалось. В «Детской энциклопедии» в томе, где рассказывается об астрономии, о Семенове тоже нет ни слова... Стал искать дальше. В многотомной «Большой советской энциклопедии» повезло — нашел несколько строк, так немного, что привожу их полностью: «Семенов Федор Алексеевич (1794—1860), русский астроном-любитель. Семенов самостоятельно изучил математику, физику, астрономию и вел наблюдения при помощи изготовленных им самим астрономических инструментов. Наибольшее значение имеют работы Семенова по вычислению затмений; составил таблицы всех солнечных и лунных затмений с 1840 по 2001 годы. Семенов систематически вел также метеорологические наблюдения и публиковал их. Большую помощь Семенову оказывали русские астрономы Д. М. Перевощиков и А. Н. Савич». В библиографии указываются две работы о нем: одна книга, изданная в 1876 году, и одна статья в сборнике, изданном в Курске в 1946 году. Называется еще работа самого Семенова «Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 год на московском меридиане», напечатанная в «Записках Русского географического общества» за 1856 год, да его автобиография, изданная в 1920 году. Не много, но все-таки... Но ни одной из этих книг в библиотеках мне отыскать не удалось. Книжка Клавдии Лукашевич, с которой я начал рассказ, в библиографии

не упоминалась — то ли автор статьи не знал ее, то ли счел работу детской писательницы не достойной внимания. А жаль! Плохо ли, хорошо ли, а Клавдия Лукашевич дала яркий рассказ о жизни и работе замечательного русского ученого-самоучки. И недаром Сытин издал ее массовым, дешевым изданием. Издал в буквальном смысле слова для народа. Читайте! Гордитесь своими предками!

Так кто же он был, Федор Семенов?

20 апреля 1794 года в Курске, российской глуши по тому времени, в семье купца родился сын Федор. Как и положено в купеческих семьях, родители стремились вырастить его помощником отцу, его преемником (вспомните детство великого Чехова). А сына тянет к другому. «Отчего гремит гром, сверкает молния? Отчего солнце светит днем, а луна и звезды ночью? Небо — что это такое?..» С маленьким Федей занимались дьячки, которым и самим не грех было бы поучиться. «Что такое небо?» Ответ прост: «Небесна твердь, там бог». — «Что такое звезды?» — «Живи и любуйся». Потом Федю отдали в школу. Когда он выучился читать и считать, родители сочли образование законченным: для того, чтобы помогать в лавке отцу, больше не нужно...

В 1804 году, когда мальчику было десять лет, произошло солнечное затмение. Федя его не видел, но слышал разговоры взрослых, и его поразило: как это солнце может вдруг потемнеть? Отчего? Взрослые говорили: гнев божий... Года через два Феде случайно попал в руки старый календарь — «Месяцеслов» на 1802 год, и там он прочел, что солнечные и лунные затмения можно предсказывать наперед. Но если наперед — какой же тут гнев божий?

Федору было уже девятнадцать лет, когда наступило время предсказанного «Месяцесловом» лунного затмения — 31 июля 1813 года. В это время он находился по делам отца в Киеве. Там и смог наблюдать затмение. Астрономия все больше привлекала Федора. Он уже давно выписывал книги из Москвы — по астрономии, физике, математике... Но вот беда — понимал далеко не все, не хватало знаний. Пришлось начать с азов. Он приобрел арифметику Меморского и старательно проштудировал ее, а потом уже перешел к более сложным наукам — геометрии, тригонометрии, алгебре, естественным наукам. Он стал регулярно вести

наблюдения за погодой, составлять метеорологические таблицы. Приборы для своих наблюдений делал сам.

Познакомился Семенов с известным литератором и историком Николаем Алексеевичем Полевым, тоже самоучкой, тоже сыном курского купца. Знакомство переросло в дружбу. С помощью подаренной Погодиным книги Семенов сделал еще несколько приборов, а в 1825 году — зрительную трубу. Это дало ему возможность более углубленно заняться своими исследованиями.

В 1829 году Семенов приехал в Москву, где в это время жил Н. А. Погодин, и тот познакомил его со многими учеными и профессорами университета. Семенов стал посещать их лекции, поражая ученых своими знаниями, а те старались, чем могли, помочь астроному-самоучке. Профессор Перевощиков подарил ему секстант для астрономических наблюдений и редкое издание таблиц солнечных и лунных затмений. Семенов еще упорнее стал заниматься астрономией.

С 1838 года он стал регулярно печатать в «Курских губернских ведомостях» свои метеорологические наблюдения, которые проводил ежедневно до конца своей жизни, а через год представил их в Академию наук. Академия признала их достойными и в награду выслала ученому-самоучке набор прекрасных метеорологических инструментов.

Вооруженный еще более точными приборами, Семенов стал печатать статьи о своих наблюдениях не только по метеорологии, но и по астрономии. В 1850 году он опубликовал карту полного солнечного затмения, которое, как он утверждал, следовало ожидать 16 июля 1851 года. Эту карту высоко оценили профессор Московского университета Д. М. Перевощиков и профессор Петербургского университета А. Н. Савич, тем более что на русском языке такая карта вышла впервые. Но знаменитый французский астроном Араго, узнав о предсказании Семенова, на заседании Парижской Академии наук заявил, что расчеты Семенова не верны и затмение 1842 года было последним в столетии полным солнечным затмением, которое можно наблюдать в Европе.

Против курского самоучки — известный французский ученый...

Семенов тщательно проверил свои вычисления еще раз и выступил со статьей в «Курских ведомостях»:

«Вычисления Араго совершенно противоположны моим вычислениям, и хотя многие почтут непроститель-

ной смелостью с моей стороны восставать против такого великого авторитета, каким пользуется г. Араго, но привыкши думать, что положительные науки, в числе коих бесспорно и астрономия, имеют одни и те же основания во всех пределах земного шара, для пользы науки я считаю предосудительным хранить молчание в столь важном случае. А потому честь имею с своей стороны объявить, что 4 полные солнечные затмения в текущем столетии будут видимы и в Европе, согласно сделанным мною вычислениям <...> Итак, 4 затмения должны решить, кем исчисление сделано правильнее. Мы ли на чистом небе дня встретим дивные мириады звезд, или жители других частей света не в привычное время увидят их вечно стройное течение?»

Спор между Семеновым и Араго должна была решить сама природа.

День затмения приближался, и в город Бобринец Херсонской губернии, откуда было решено наблюдать его, прибыли Семенов и профессор Савич, командированный для этой цели Императорским русским географическим обществом.

В день затмения, которое должно было начаться в 5 часов 39 минут 8 секунд пополудни, ранним утром выглянуло солнце. Казалось, ничто не предвещало помех... Но часам к девяти на светлое небо стали набегать редкие облака, а потом небо заволокли грозовые тучи. Поднялась буря. К четырем часам буря утихла, но небо не очистилось. Сеял мелкий дождь... Но вот на восточной стороне небо начало проясняться и сквозь раздвинувшиеся облака снова ярко засияло солнце. До затмения оставались считанные минуты. Семенов приник к трубе.

Все вокруг замерло в глубокой тишине. Необычайное и торжественное явление матери-природы!

Диск луны коснулся края солнца, стал надвигаться на небо, полностью закрыл. На небе меж разорванных облаков появились звезды...

«Мы ли на чистом небе дня встретим дивные мириады звезд, или жители других частей света не в привычное время увидят их вечно стройное течение?» — вспомнил Семенов и сам себе ответил: «Мы!»

Через три минуты из-под темного круга луны вырвался первый солнечный луч, и темнота побежала, растаяла, исчезла.

Когда вскоре небо снова заволокло тучами, Федора

Алексеевича это уже не могло огорчить: его правота была доказана. Счастье к Федору Семенову «упало» с неба.

Араго признал свою ошибку и печатно извинился перед Семеновым. Русское географическое общество наградило Семенова золотой медалью. Он был пожалован в почетные граждане города Курска.

В конце 1853 года в Курске состоялось торжество: Федору Алексеевичу Семенову вручали отличные астрономические инструменты, купленные на пожертвования не только жителей Курска и губернии, но и Москвы и Петербурга. Директор знаменитой Николаевской обсерватории Струве прислал по этому поводу Семенову письмо, в котором, в частности, говорилось: «Такое выражение уважения к заслугам Семенова возвышает самих жителей Курска в мнении ученого мира и служит доказательством их высокого уважения к наукам. Курская губерния может гордиться своими жителями, и должно желать, чтобы примеры, как Семенов, имели побольше последователей не только в Курской губернии, но и во всей России»...

Федор Алексеевич Семенов умер в 1860 году.

На могиле Семенова, которая сохранилась до наших дней, стоит памятник, надпись на нем гласит:

Что он любил, над чем трудился он,
Про то все знают:
И солнца луч, и звездный небосклон,
И те, что изучают
Небес таинственную мудрость,
И всяк народного таланта друг,
И родины его друзья, и многолюдность,
И школа в честь его заслуг.

Хорошо, что куряне сберегли память о своем славном земляке. Как мне любезно сообщили из областного управления культуры, в Курске сохранился дом Семенова, где вскоре будет открыта детская техническая станция, в областном краеведческом музее экспонируются материалы, отражающие его научную деятельность... Сохранилось и название улицы — Семеновская...

Многие просвещенные люди восемнадцатого века знали о Семенове: Василий Андреевич Жуковский, будучи в Курске, посетил дом Семенова, Виссарион Григорьевич Белинский, в одной из статей говоря о том, что Петр Великий, вводя новые порядки, рьяно ломал тра-

диции, заметил, что борода не мешает считать звезды: это известно в Курске.

Ну а кто сейчас знает о Семенове, кроме жителей Курска да специалистов-астрономов? Мы не оправдали надежд автора эпитафии, не «всяк народного таланта друг» слышал о нем.

Да и откуда собственно узнаешь? Из книжки, к которой отсылает энциклопедия, изданной более ста лет назад? Из маленькой статейки, напечатанной в специальном научном сборнике в Курске в 1946 году?.. Разве что кто-нибудь случайно «наткнется» на книжечку Клавдии Лукашевич, но много ли их сохранилось — семьдесят страниц на плохой бумаге («Дешевое издание»!), которым уже более семидесяти лет?!

А вот, к примеру, книга последних лет, где можно было бы ожидать хотя бы упоминания о Семенове: «На земле великой битвы» М. М. Дунаева. В ней рассказывается о достопримечательностях городов и местечек Курской и Орловской областей, но о Федоре Семенове нет ни слова. Это тем более досадно, что книга Дунаева написана с любовью к местам, которым она посвящена, написана интересно. Автор привлекает внимание читателя ко всему, что может пробудить у него гордость за наш народ, нашу культуру, нашу Родину... И в других книгах о Курске, в путеводителях, памятниках для туристов имени Семенова я не нашел. А ведь это все равно, что в книге о Твери не найти имени Афанасия Никитина, а в книге о Воронеже — имени Алексея Кольцова.

Может быть, уже пришло время вспомнить о Федоре Семенове и издать о нем если не книгу в серии ЖЗЛ, то хотя бы брошюру, как в свое время это сделал Иван Дмитриевич Сытин.

ЦИОЛКОВСКИЙ И СТУДЕНТ ВИКТОР ШОЛМИН

Как-то, читая книгу о К. Э. Циолковском — еще в первой, малого формата, серии ЖЗЛ, — я стал просматривать библиографию печатных работ Константина Эдуардовича и обратил внимание на такую деталь: если не считать статей в различных научных журналах и сборниках, подавляющее большинство его прижизнен-

ных книг, вернее даже, брошюр, было изданием автора. Человеку неискушенному это может показаться прекрасным — вот здорово, захотел и издал! Но это далеко не так. «Издание автора» — это значит, что трудно, почти невозможно найти издателя, это значит, что приходилось издавать свои труды иногда на последние деньги.

Проблемами освоения космоса в наши дни интересуются многие. А более полувека тому назад? Тогда таких людей — их скорее называли мечтателями — было куда меньше. Но они были и верой своей, может быть, поддерживали великого ученого. «Издание автора»... Пожалуй, именно эти слова заставили меня вспомнить одну давнюю газетную заметку...

О геологе Викторе Яковлевиче Шолмине, владельце редкого собрания книг, посвященных реактивному движению и завоеванию космоса, прижизненных изданий Циолковского, его автографов, я узнал из заметки в газете «Известия» лет двадцать назад.

В собрании Виктора Яковлевича книг о космосе не так уж много — около пятисот. Но что это за книги! Тридцать одна из них подарена лично Циолковским, на одиннадцати из них ученый сделал надписи на полях — отвечал на вопросы своего корреспондента. Сохранились конверты бандеролей, адреса на которых написаны рукой Циолковского.

Кому же много лет назад посылал свои книги патриарх нашей науки об овладении космосом? Кому писал на полях книг? Кому адресовал бандероли? Студенту первых курсов Сибирского геологоразведочного института в Томске Виктору Шолмину.

Я представил себе, как это происходило.

...Калуга, та самая «дербень, дербень Калуга», ставшая как бы неофициальным символом нашей провинции... Циолковский работает уже в других условиях, чем до революции, он признан как ученый, да и Калуга стала другой, но все равно ему еще очень и очень трудно... Как дорог ученому каждый новый человек, интересующийся его идеями! Как дорог, будь это всего-навсего школьник или студент!

Вот он, закончив на сегодня работу в мастерской или над рукописью, наверное, под вечерок садится отвечать своим многочисленным друзьям и соратникам. Люди, подобные Циолковскому, ценят человеческий

труд и его плоды превыше всего. Никогда в жизни такой человек не выбросит корку хлеба, не порвет листок бумаги, который еще можно использовать. (Вспомним, что Лев Толстой нередко отвечал своим корреспондентам на чистых листках их писем.) Так и Циолковский. Он ценил каждый лист. Зачем тратить на бандероли чистую бумагу? И вот, присев к столу, он заклеивает книжечки в листы со своими расчетами, уже отслужившими ему. Одна-то сторона у них неиспользованная, для адреса вполне сгодится. И шла такая бандероль в Томск Виктору Шолмину.

Меня заинтересовало, почему Циолковский посылал свои книги студенту-геологу? Не без труда разыскал я адрес Шолмина (жил он тогда в Магадане, уже позже перебрался в Калугу) и написал ему. Виктор Яковлевич откликнулся подробным письмом, завязалась переписка, и вот что я узнал.

«История моей «космической коллекции», — писал Виктор Яковлевич, — и других собраний, касающихся завоевания космоса, начинается со школьной скамьи, когда я и мой товарищ Аркадий Иванович Юдин <...> увлекались астрономией <...> Переписка с К. Э. Циолковским началась <...> в начале 30-х годов с книги ученого «Исследование мировых пространств реактивными приборами», которую мы случайно обнаружили в областной библиотеке. На последней странице автор рекомендовал всем, интересующимся его работами, обращаться к нему в Калугу. Мы воспользовались этим призывом и написали ученому письмо с просьбой выслать нам некоторые его труды...» Ответ не заставил себя ждать.

«Из Калуги, от Циолковского», как обозначался на конвертах заказных бандеролей обратный адрес, начали поступать книга за книгой. Так была положена основа интересному собранию. Для меня оно не только как бы живая история науки об овладении космосом — от первых мыслей и расчетов ее основоположника до нашего вымпела на Венере, — но и воскрешение далекой уже обстановки, в которой совершался подвиг ученого. Ведь, по существу, вся нелегкая жизнь Циолковского была подвигом.

О сколь многом говорят эти первые книжечки Циолковского и объявления на их обложках: «Пусть желающие приобрести эту работу сообщат свои адреса. Если их наберется достаточно, то сделаю издание с расчетом,

чтобы каждый экземпляр (6—7 листов, или более 100 страниц) не обошелся дороже рубля».

А наберется ли желающих достаточно? Не превысит ли стоимость книги скромную сумму? Надо, чтобы книгой заинтересовалось как можно больше людей, но нельзя допустить, чтобы люди тратили деньги зря, и Константин Эдуардович разъясняет далее: «Предупреждаю, что это издание весьма серьезно и будет содержать массу формул, вычислений и таблиц».

Иногда маленькая деталь, вроде этого объявления на обложке, может сказать о человеке куда больше, чем иной обширный трактат.

Меня всегда волновало и трогало это драматическое несоответствие: наука о космосе зарождалась и развивалась в провинциальной Калуге, проект первого в мире реактивного летательного аппарата был сделан Николаем Кибальчичем в одиночной камере крепости, в ожидании казни.

Болью и гордостью наполняется сердце, когда читаешь слова Николая Кибальчича: «Находясь в заключении, за несколько дней до смерти я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.

Если же моя идея после тщательного обсуждения учеными специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу Родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать жизнью».

Так будем же помнить, в каких условиях закладывался фундамент наших побед. Будем помнить и о том, что когда-то и Циолковскому был дорог интерес к его работе студента Виктора Шолмина: на полях одной из книг, присланных ученым, сохранилась надпись простым карандашом: «Спасибо большое за отзыв». И на другой: «Спасибо».

«НОВАЯ ЦЕНА...»

Книга с автографом известного писателя... Книга с авторскими пометками или пометками другого замечательного человека... Книга с удивительной судьбой, книга из библиотеки классика... Книга, один из немно-

гих экземпляров, оставшихся после сожжения тиража... Книга с иллюстрациями, раскрашенными художником от руки... Книга, побывавшая в руках цензора, перечеркнувшего главы и абзацы... Все эти уникумы, драгоценности не только потому, что их единицы, но и потому, что каждый экземпляр — частичка истории литературы или хотя бы жизни того или иного человека.

Драгоценен экземпляр, который может дать больше, чем любой другой из этого же издания.

Порою многое рассказывают книги и без автографов писателя, и те, чьи сестры не горели в кострах.

Вот как бы обычная книга — Павел Васильев «Избранные стихотворения и поэмы». Выпущена она Издательством художественной литературы в 1957 году. Тираж — 25 тысяч — по нашим понятиям хотя и маленький, но уж не такой, что сам по себе должен сделать книгу редкой. И в то же время книга эта особенная. На части тиража, хочется думать — на небольшой его части, есть надпечатка:

«Новая цена — р. 30 к.»

Тридцать копеек за почти пятьсот страниц удивительных стихов, за аккуратный томик в темно-голубом лидериновом переплете, напечатанный на хорошей бумаге, со вступительной статьей и портретом автора...

...Когда-то, годах тридцать четвертом — тридцать седьмом, я выискивал стихи Павла Васильева в газетах. Особенно часто он печатался тогда в журналах «Красная новь», «Новый мир», в «Известиях». Сборников Васильева я не встречал, только позже узнал, что при жизни поэта вышла единственная его книга «Соляной бунт», в 1935 году. Газеты с его стихами я собирал. Помню, как досадно было увидеть одну из них со стихотворением «Песнь против войны» на стене: оклеили перегородку.

Потом Павел Васильев исчез. Было ему тогда двадцать шесть лет. Лет двадцать о нем не писали и не говорили. Единственную книгу легко было изъять, газеты и журналы с его стихами мало кто хранил, а в библиотеках и они стали недоступны широкому читателю. Исчез поэт, исчезли его произведения, и постепенно его стали забывать даже знавшие о нем. За двадцать лет выросло поколение, не слыхавшее его имени.

После XX съезда Партии Павел Васильев был реабилитирован. Стихи его, наконец, издали — тот самый

томик, о котором я уже говорил. Почему-то я не сразу узнал о его выходе в свет, а когда узнал — долго ходил по магазинам: нет, нет, нет... Конечно же, раскупили! — подумал я. Чему тут удивляться: столько лет не издавали!

Я не нашел книги и у букинистов и твердо решил, что она, как это бывает с интересными и редкими изданиями, прочно осела у любителей отечественной поэзии.

Мне казалось, что книга стала почти ненаходимой...

И вот в году 1964 или 1965-м в отделе уцененных книг магазина на Кузнецком мосту я увидел «Избранные стихотворения и поэмы». Стоила она не 1 р. 39 к. (13 р. 85 к.), а всего 30 копеек, как сообщала надпечатка фиолетовой штемпельной краской.

Это и была новая цена. Я мог выбрать любой томик из довольно большой стопки; передо мной был не один экземпляр, случайно завалявшийся где-нибудь под стойкой. От книги пахло сыростью и тленом, хотя внешний вид она сохранила превосходный. Семь или восемь лет книга лежала где-то на складе.

Я наугад раскрыл томик:

В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега...

Перелистал несколько страниц:

Лохматые тучи
Клубились над нами,
Березы кружились
И падали, и,
Сбежав с косогора,
Текли табунами,
И шли, словно волны,
Курганы в степи...

Или еще через несколько страниц:

Мы пьем из круглых чашек лето...

Какие удивительные образы, сколько в них истинной поэзии!

Находка насколько меня обрадовала, настолько и огорчила. В этой надпечатке фиолетовой штемпельной

краской все — и неумение торговать, и беспощадный закон забвения. О Васильеве тогда многие просто не знали. Но разве сам поэт виноват в этом?

Сейчас о Павле Васильеве много пишут, печатают воспоминания о нем, его фотографии, неопубликованные стихи. Современный читатель узнает о нем все больше и больше. Но той славы, которую приобрел бы поэт, живи и работай он поныне, наверное, уже не будет. А слава — была бы, обязательно была бы! Почти двадцать лет спустя после его смерти Борис Пастернак писал:

«В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время, раньше, при первом знакомстве с ними Есенин и Маяковский.

Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и безмерно много обещал...»

ПАМЯТКИ СУРОВЫХ ГОДИН

Кого не охватит глубокое волнение, если ему доведется взять в руки, допустим, ростопчинские афиши * или лубочные картинки времен Отечественной войны 1812 года? Более полутораста лет жизни, полной событиями — великими и трагическими, — безжалостными к хрупкой и недолговечной бумаге, сделали эти издания подлинными редкостями.

---

* Афиши (листовки) патриотического содержания, призывающие жителей Москвы на борьбу с врагом, которые составлялись во время Отечественной войны 1812 года графом Ростопчиным, губернатором Москвы. Афиши раздавались народу и расклеивались на улицах. Вот, к примеру, одна из афиш:

«Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество, не впустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, кормила, и обогатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дня хлеба; идите с крестом. Возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговариваться станет! 30 августа».

С начала Великой Отечественной войны 1941—1945 годов не прошло и полувека, но у многих ли из нас сохранились книжечки и брошюрки, выпускавшиеся, не в пример 1812 году, огромными — пятидесятитысячными, стотысячными и более — тиражами?

Думаю, не у многих...

Кто их берег тогда, эти изданные на шершавой газетной бумаге, наспех отпечатанные, иногда тусклой краской, книжки? А разве многие могли сберечь издания подпольщиков — газеты, листовки? Даже по условиям жизни того времени это было не так-то просто. Так на наших глазах, в течение жизни, вернее даже, части жизни одного поколения, многие издания военных времен, вышедшие даже большими тиражами, стали библиографической редкостью.

Когда после освобождения Карачева я приехал туда, один из секретарей райкома, которого я расспрашивал о жизни во время оккупации и подпольной работе, протянул мне пачку шершавой серой бумаги:

— Возьмите...

Не все мы оцениваем сразу. Жизнь давала мне возможность не один раз убедиться в этой истине.

Я взял листки, которые тогда, пожалуй, не показались мне такой уж редкостью, и благодарность к товарищу, одарившему меня этим подарком, нужно сказать, растет год от года. Издания эти — не знаю, во многих ли хранилищах они есть? — живые и неповторимые свидетели дел героических. И сами они — участники борьбы.

Эти листки значительно меньше размера ученической тетради. Газета, орган Карачевского райкома ВКП(б), называлась «За победу», как и многие подпольные издания. Выпускалась она под носом у фашистов. Сколько мужества, находчивости, отваги стоил каждый такой листок! Газета печатала, как правило, сводки Совинформбюро и очень коротенькие заметки. Две колонки текста на одной стороне листка, две колонки на обратной.

Такой же по формату была и газета «За Родину», орган Хвастовичского райкома ВКП(б), печатавшаяся в селе Хвастовичи. Газеты выходили без нумерации, с указанием лишь даты выпуска.

Техника была примитивной, не все строчки оттиснуты отчетливо, но что это за строчки! С. И. Картош-

ников из села Подбужья сообщает: «В поселке Урицком (около Брянска) гитлеровские палачи устроили концлагерь, согнав в него до 10 000 жителей Брянского, Хвастовичского, Карачевского, Жиздринского, Дятьковского и других районов.

В этот концлагерь оккупанты вместе с отцами и матерями заключили и детей. Концлагерь охраняют гестаповцы, которые творят в нем кошмарные злодеяния».

Далее автор описывает эти ужасы.

В пачке среди газет оказался и другой вид изданий: листовки.

Вот Карачевский райком обращается к молодежи. Листовка так и названа: «К молодежи Карачевского района». Она тоже рассказывала молодежи о зверствах фашистских оккупантов, об истинном положении дел на фронтах, о победах Красной Армии и призывала:

«1. Уходите в леса к партизанам, всюду вы их там встретите.

2. Истребляйте оккупантов и изменников Родины.

3. Поджигайте вражеские склады, взрывайте мосты, поезда, телефонную связь, выводите из строя автомашины и оружие.

4. Не давайте врагу отбирать хлеб, молоко, яйца, угонять коров и лошадей.

5. Срывайте сбор налогов, ремонт дорог и военных укреплений.

6. Не давайте угонять население в Германию и концлагеря, девушек и женщин в публичные дома.

7. Спасайте от смерти всех, кого оккупанты хотят казнить.

8. Оказывайте во всем помощь партизанам.

9. Не верьте фашистской лжи, читайте и распространяйте Советские листовки и газеты.

10. При отступлении врага захватывайте его оружие,

склады и технику, помогайте наступающей Красной Армии громить оккупантов.

Вперед на разгром гитлеровских бандитов!»

Листовка помечена мартом 1943 года.

Аналогичные обращения выпускались к женщинам, ко всем трудящимся Карачевского района.

Но были и другие листовки... Свидетельства жизненных драм, заблуждений, измен и предательств... «Полицейский! — обращается листовка. — Ты совершил тягчайшее преступление перед Родиной...», «Старосты и полицейские Карачевского района! — кричит другая. — Не будет вам пощады, предатели, если вы сейчас не опомнитесь...», «К легионерам, охраняющим ж.-д. Брянск — Орел, Брянск — Зикеево, Полпино — Еленский завод и всем другим! — призыв третьей. — ...Опомнитесь, пока не поздно, переходите к нам, и вы будете спасены от неминуемой гибели! Уходите в леса, всюду вы нас встретите! Мы встретим вас, как русских людей, наших братьев и друзей, поможем вам искупить вину перед Родиной!..»

«Опомнись, русский человек! — Вот лейтмотив этих листовок. — Решайтесь быстрее, потом будет поздно».

Листовки являлись «пропуском в партизанские отряды любого количества легионеров».

На некоторых газетах и листовках красным карандашом помечен тираж: 150, 400, 500 экземпляров. Конечно, их сохранилось мало, наверное, единицы.

Жаль, что никому в голову не пришла мысль — а может, и возможности такой не было — сохранить плохо обструганные доски с надписями на немецком языке: «Внимание! Опасность — партизаны!»

Есть у меня книжка, которую я сберег, зная, что когда-нибудь ее с интересом будут рассматривать и те, кто представляет войну лишь по литературе, фильмам и спектаклям, и те, кто сам был участником сражений. Книга эта называется «Спутник партизана».

Проходит время, один за другим уходят из жизни участники Великой Отечественной войны, безвозвратно уносят с собой многие свидетельства неповторимой эпохи, и мы уже начинаем восстанавливать факты не совсем точно.

О «Спутнике партизана», к примеру, было рассказано в «Книжном обозрении» 11 июля 1975 года. Автор заметки пишет, что эта книга издана ЦК ВЛКСМ всего в нескольких экземплярах (!). Не будем строго судить автора заметки: действительно, в наше время не всякому дано подержать в руках эту книгу. Но на самом деле «Спутник партизана» издавался не один раз, а тираж, к примеру, третьего издания — 50 тысяч экземпляров.

Передо мной толстенький, размером с папиросную коробку томик «Спутника партизана», изданный в самый разгар войны — в 1942 году. Мягкий переплет из серого коленкора, малый формат — все предусмотрено для ношения в кармане или даже за пазухой. В томике — 432 страницы плюс несколько чистых — для записей.

В книге этой все необходимые сведения для человека, который идет в логово врага.

Тут и руководство, как переходить линию фронта, как взрывать вражеские объекты, как пользоваться оружием фашистов, как ориентироваться на местности, маскироваться, как оказать первую помощь, как вступить в рукопашный бой, жить на снегу... В приложениях даны знаки различия немецкой армии и русско-немецкий разговорник.

Книга войны...

Перебрасывались эти «Спутники» в тыл врага партизанам самыми разными путями. Думаю, что не случайно перед тем как перелететь линию фронта за этой книгой зашел в ЦК ВЛКСМ Иван Меньшиков, работник «Комсомольской правды», известный тогда автор сборника рассказов «Друзья из далекого стойбища». Увы! В этот день я видел его в последний раз: самолет был сбит немцами, и Ваня Меньшиков вместе с другими погиб.

В те огненные годы выходила сатирическая газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину!» Газета, да еще сатирическая — это ли не редкость теперь? Несколько ее номеров сохранилось у меня, сохранились только потому, что я впервые напечатал в ней свои рассказы. Но вместе с ними сберег и газеты целиком. Можно восстановить по ним и состав авторов, и состав художников, приемы и стиль этого издания.

Издавалась газета-плакат ЦК КП(б) Белоруссии.

Девиз — какой только и мог быть тогда: «Смерть немецким оккупантам!» Но, кроме него, и еще одна надпись над или под текстом, так характерная для листовок, фронтовых газет и других подобных изданий: «Прочти, передай другому». Сотрудничали в газете-плакате белорусские и русские писатели и художники: А. А. Бялевич, К. Крапива, М. Климкович, В. Зуб, М. Танк, Я. Колас, М. Чаусский, Д. Заславский, Ю. Ганф, Г. Вальк и многие другие. С газетой связано имя талантливого художника-самоучки Виталия Букатого, погибшего в бою восемнадцати лет от роду.

Все описанные выше — издания специального назначения. Но ведь в годы войны выпускалась и художественная литература. Не в таких масштабах, как теперь, но выпускалась.

Появился самый оперативный, пожалуй, вид издания художественных произведений — тоненькие, сейчас уже хрупкие и желтоватые книжечки-брошюрки, издаваемые «Правдой». В них печатались рассказы Ванды Василевской, Александра Довженко, Вадима Кожевникова, Александра Кривицкого, Леонида Соболева, Ильи Эренбурга и других крупных писателей. Серия выходила под рубрикой «Из фронтовой жизни», тираж ее — 150 тысяч.

Какой огромной силой обладало художественное произведение, слово писателя и поэта, как необходимо оно было в кровавой борьбе!

Об одной книжечке военных лет хочется рассказать более подробно. Это не роман и не повесть — небольшой сборник документов.

Как известно, в конце первого варианта романа «Молодая гвардия» Александром Фадеевым проставлено: 1943—1945 гг. В 1946 году книга вышла в свет. С тех пор она стала одной из любимых книг молодежи и не раз переиздавалась.

У меня сохранился экземпляр первого издания, выпущенного издательством «Молодая гвардия» в суперобложке, в картонном футляре — в таком оформлении, по тем временам редком, вышла только часть тиража.

Но первой книжкой, рассказавшей миллионам читателей о героических делах подпольной комсомольской организации, был все же не роман Фадеева, а неболь-

шой сборник, и назывался он «Герои Краснодона» (материалы и документы о работе в тылу врага подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»).

Сейчас же после титула идет Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза организаторам и руководителям подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», далее — Указ о награждении матери Олега Кошевого — Елены Николаевны орденом Отечественной войны второй степени, длинный список имен замученных героев, клятва молодогвардейцев. Думаю, что будет совсем не лишним и в наши дни привести эту клятву целиком:

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем.

Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками ли или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Документы подпольной организации «Молодая гвардия» хранились в сравнительно небольшой по объему и самой обычной по внешнему виду папке. Но хранилось в ней то, что обжигало сердце. Записки, письма молодогвардейцев, текст листовок, которые они вывешивали в Краснодоне, приказы по штабу партизанского отряда, текст клятвы... На одном из документов — кровь... Меня особенно потрясла записка Любы Шевцовой, которую она за несколько часов до казни написала матери:

«Прощай, дорогая мама. Твоя дочь Люба уходит в сырую землю».

Не знаю, чего здесь больше: простоты, лаконизма,

сдержанности в выражении чувств при самых крайних, трагических обстоятельствах, так свойственной русскому характеру... Но строчка эта, две эти фразы стоят многих фраз и страниц.

«Прощание с родиной», полонез М. Огинского, звучит всего три минуты — краткость поразительная, — написан он, как известно, тоже при обстоятельствах драматических и оставляет впечатление потрясающее.

Из всех известных мне эпитафий, помню, сильнее всех отозвалась в сердце одна и самая краткая — на гладком полу собора в Александро-Невской лавре: «Здесь лежит Суворов».

Я долгое время не знал, кто написал, составил из документов книжечку «Герои Краснодона», в выходных данных был лишь указан ответственный редактор — Б. Дьяков, известный ныне писатель, автор «книги нарасхват» «Повесть о пережитом», эпопеи «Мужество любви» и др. Бориса Александровича я знаю сорок лет, но то, что он был ответственным редактором этого сборника, как-то подзабыл. Взяв однажды книжку в руки, пошел — благо, мы живем теперь в одном доме, — к нему: узнать, кто же ее автор. Борис Александрович посмотрел на книжку, улыбнулся и на обороте обложки сделал такую запись:

«<...> Сережа!

Эту книгу по заданию ЦК ВЛКСМ и «Молодой гвардии» я составил и написал за одну ночь. В течение 5 дней она ушла на фронт (тогда издавали «молнией»). Сие было в 1943 году в сентябре. Береги, Сережа, память о краснодонцах и обо мне. Борис. 15.6.82 г.»

Папка с документами, о которой шла речь выше, послужила толчком и для другого большого дела. Пожалуй, с нее начался роман «Молодая гвардия».

Первое издание романа Фадеева и книжка «Герои Краснодона», которая, хотя и выпущена стотысячным тиражом, стала редкостью, стоят у меня на полке рядом.

И еще об одних реликвиях военного времени я хочу рассказать...

В Карачеве на Первомайской улице под № 85 стоял дом, построенный, видимо, еще во времена крепостного права. Одноэтажный, просторный, он был обшит тесом, и на нем виднелись большие шляпки кованых гвоздей. Кованые гвозди... Какое далекое от нас время!

Дом сгорел, от него осталась куча кирпича и золы. Она показалась мне больше и печальней, чем от других домов: в доме квартировала наша семья. Во дворе чудом сохранился сарайчик, там жила наша соседка Таня Клецова, а у нее — моя мать, лежащая в тифу.

Как-то Таня спустилась в подпол и вместе с капустой принесла оттуда несколько книжечек: «Памятка о Сергее Есенине», «Есенин о себе и других» Ивана Розанова, что-то еще... Неужто они? Неужто те самые? Мои?

Перед тем как сжигать и взрывать город фашисты все население, от мала до велика, погнали на запад. Перед уходом люди, в том числе и моя мать, спрятали наиболее ценное, надеясь, что рано или поздно, быть может, удастся вернуться. Но все, что было закопано матерью в землю, исчезло — фотографии, семейные реликвии, письма, наиболее ценные книги, кое-что из одежды. Книжки же, которые она не прятала, — уцелели. И я держал их в руках.

В конце двадцатых годов, когда мы еще жили в селе Мокрое, по объявлению в «Огоньке» я выписал их из Москвы, даже не предполагая, что все связанное с Есениным впоследствии станет предметом моего собирательства. Потом мы переехали в Карачев, война, «дорогие» толстые книги в переплетах сгорели или пропали, а эти, которые, казалось бы, и ветру легко унести и которым еще легче обратиться в прах, коснись их даже не пламя, а жаркий дух пожара, все же уцелели.

Неожиданной находкой есенинских книжек дело не кончилось: в нежилой части сарайчика я нашел один из томов «Войны и мира» Л. Толстого в издании Сытина. Издание не назовешь редким. Но что это был за экземпляр! Осколок снаряда оторвал верхний угол толстой книги в роскошном переплете. Война неровно отгрызла кусок «Войны и мира»...

Но самой ценной реликвией, которой одарила меня судьба тогда, была тоненькая книга довольно большого формата, которую кто-то вытащил из пожарища — края ее обгорели. Называется она «Передовые отряды — Ленину», выпущена в 1924 году Московским комитетом РКП. Титул — в траурной рамке, на следующей странице, тоже в траурной рамке, — портрет Вла-

димира Ильича. И все остальные страницы — в рамках траура. Книга, по-видимому, вышла в первые же дни после смерти Ленина, и содержит она обращения МК РКП, ЦК РКП, ЦК ВЦСПС и других общественных организаций к трудящимся. «К партии!», «Под знамя Ленина!», «К воинам революции!», «Ко всем трудящимся Союза ССР», «К трудящемуся человечеству», «К крестьянам всего мира», «Ко всем членам РКСМ» — вот заголовки некоторых из обращений...

Эти пропахшие и дымом пожарищ, и сыростью подпола книги мне дороги вдвойне. Я никогда не забываю, что пришлось им испытать...

Лицомъ к лицу



АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

С первых лет революции и по сегодняшний день «штаб» советской кинематографии помещался и помещается в бывшем особняке миллионера Лионозова — Малый Гнездниковский, 7.

В Гнездниковский, 7 приходили первые операторы и режиссеры советского кино, приходят молодые специалисты — будущее нашего искусства.

По коридорам и залам этого двухэтажного, а затем четырехэтажного здания ходили А. Луначарский, В. Маяковский, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, братья Васильевы, И. Савченко, Я. Протазанов, А. Бек-Назаров, М. Ромм, Н. Экк, многие другие.

Бывали дни, когда в темноватом коридоре на четвертом этаже можно было увидеть одновременно многих теперь уже великих: приходили на совещание, на просмотр, на обсуждение, на коллегию. Ходили и поодиночке — по своим насущным делам.

Ходил здесь и Александр Петрович Довженко.

Известно полусерьезное-полушутливое заявление Александра Петровича о том, что он любит кинематографию, но не любит ее руководителей, и все же, думаю, Довженко появлялся в этом здании не всегда ради сугубо практического дела, так сказать, вынужденно, да простится мне этот домысел.

Открывалась дверь из коридора, и он входил. Стройный, седой, независимый — и с палкой.

— Желаю добра!

Он садился и, как будто мы не виделись всего какой-нибудь час или два, начинал:

— Хочу написать книгу. Будет называться: «Что приятно и что неприятно». Такая книга необходима и взрослым и детям...

Александр Петрович встает:

— Приятно, когда идешь по незнакомому селу, а встречные люди кланяются тебе и говорят: «День добрый! Доброго здоровья!»

И где-то уже около самого окна, посматривая в него:

— Неприятно, когда едешь на возу сена и вдруг падаешь.

Маленькие истории следуют одна за другой, их много, и все они прозрачны по своей сути. Становится ясно, что книга эта должна научить людей стать красивыми, научить их добру, уважению к человеку и его труду, каким бы он ни был. Земля должна быть красивой, и люди на ней должны быть тоже красивыми, добрыми и мудрыми. И не получать за это званий — выдающийся, гениальный, особый, великий. Доброта, мудрость и красота — нормальное состояние. Уродство — отклонение от него.

Уродует жизнь и землю новенький с ваннами и теплыми сортирами поселок, где дома расположены по унылым линиям, где нет организующей строения и совершенно необходимой «высоты», роль которой много веков исполняла в селах церковь.

Уродство — книга, для которой издатели не нашли нужного формата. Самонадеянно полагая, что мой первый сборник рассказов вполне пристоен, я подарил его Довженко. Александр Петрович долго держал его в руках, смотрел обрез, сжимал корешок — хорошо ли книга сброшюрована? — и, наконец, показал, каким форматом нужно было ее издать: меньшим по величине, чтобы она стала толще и красивее, пропорциональнее.

Уродует человека пошлое слово или фраза, проскочившая в его речи. Собеседник и сам не заметил, как она вырвалась у него, а Довженко заметил, она ударила его, причинила ему боль.

Вспоминал о своей жизни, прошлой работе...

Не дай бог, чтобы во время этой исповеди зазвонил телефон. Нужно было сказать:

— Позвоните, пожалуйста, позднее...

Если вы по незнанию не вешали трубки и начинали говорить по телефону, хотя бы и по делу, Александр Петрович умолкал, хватал шляпу, палку или что-нибудь еще, с чем пришел, и, обиженный, удалялся. По его мнению, это было проявление неучтивости, а неучтивость Довженко ненавидел и боролся с ней беспощадно.

Эйзенштейн и Пудовкин, которые тоже неизбежно появлялись в Малом Гнездниковском, 7, не заходили просто поговорить, Александр Петрович — заходил. Ничего необычного в этом я тогда не видел: «Заходит и пусть заходит... Буду рад». А в то же время Александр Петрович как режиссер «Мосфильма» не имел ко мне непосредственного отношения: этой студией занимался

другой главный редактор и даже в другом отделе. Вопрос, зачем и почему появлялся в моей клетушке Довженко, в те годы не возникал у меня.

Теперь, много лет спустя, с отдаления, поднабравшись кое-какого жизненного опыта, я осмеливаюсь высказать убеждение, что Александр Петрович в те времена был одинок. Одинок настолько, что даже я представлял для него какой-то интерес. А ведь на «Мосфильме» — тысячи человек.

Александр Петрович сидел за столом, работал, командовал на съемочной площадке, выступал на совещаниях и обсуждениях, съездах и собраниях, ходил, стиснув зубы, по большому и малому начальству, добиваясь, по сути дела, одного и того же: чтобы земля была красивой и красивым был на ней человек.

Часто переживал катастрофы и пребывал в так называемых простоях. «Сумка дипкурьера», «Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Иван», «Аэроград», «Щорс», «Битва за нашу Советскую Украину», «Победа на Правобережной Украине и изгнание немецких захватчиков за пределы украинских советских земель», «Мичурин» — нет, не много это по количеству на жизнь такого человека! Если вычесть время, потребное для создания этих фильмов, включая все, что связано с написанием сценария, получится, что остальное время — годы и годы — ушли на продолжительные бои за право говорить народу то, что он считал нужным.

Сейчас, когда любой молодой режиссер, не обладающий и десятой долей способностей Довженко, получил прав в десятки раз больше, чем имел их в свое время Александр Петрович, это может показаться непонятным, странным.

Но так было.

...Первый вариант «Мичурина» — картина потрясала обнаженностью, искренностью чувства, яростью и страстью.

Много позднее я прочту в «Дневнике» Довженко такую запись, относящуюся к двадцать второму февраля 1944 года: «Дописываю Мичурина. Чем больше пишу и вдумываюсь в написанное, тем больше люблю этого человека.

Может быть, он был и не такой, наверно, не такой. Я отбросил почти всю сумму малых, частных, бытовых правд, стремясь к единственной главной правде этого Человека. Это много дает мне для думанья. Мне прият-

ОПЫТЪ

РАЗСУЖДЕНІЯ

О

РУСКИХЪ ПОСЛОВИЦАХЪ.

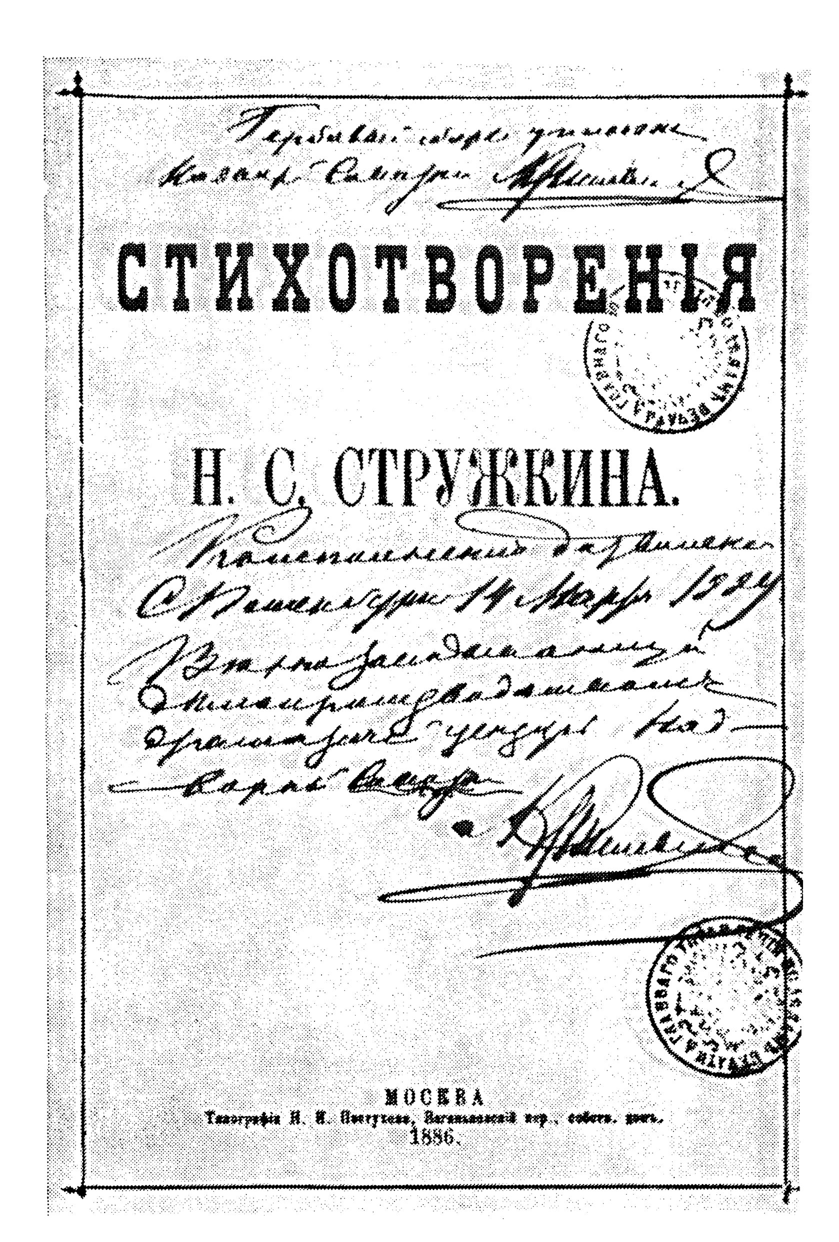
Читано

въ обществѣ любителей россійской словесности.

Сотруднику товарищу и любезному благоприятелю
Константину Федоровичу
Г-ну Калайдовичу
дарит сей опытъ свой на
память искренний приятель
по сотрудничеству своего усердия
и признательности
Сочинитель.

1823.
Марта 25.

Титульный лист книги Ивана Снегирева.



СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. С. СТРУЖКИНА.

МОСКВА

Типографія Н. И. Пастухова, Ваганьковскій пер., собств. домъ.

1886.

Титульный лист «Стихотворений» Н. Стружкина.

Кукушка

Было утро—и яркое солнышко жгло...
Вся природа кругомъ ликовала;
А кукушка, усѣвшись въ тѣнистомъ саду
На вѣтвистой вербѣ, куковала.

Эта птичка извѣстна мнѣ нѣсколько лѣтъ...
До того мы съ ней сблизились дружно,
Что въ теченіи лѣта, всегда отъ нея
Узнаю я о всемъ—что мнѣ нужно.

Въ предпріятьяхъ моихъ и серьезныхъ дѣлахъ
Обращаюсь я къ ней за совѣтомъ...
Отвѣчаетъ она на мой каждый вопросъ,
Замѣчательно вѣрнымъ отвѣтомъ.

И спросилъ я кукушку: «а скоро-ль у насъ
— Заведутся другіе порядки.
— Сколько лѣтъ еще ждать намъ—пока на Руси
— Лихоимство исчезнетъ и взятки?..»

И кукуетъ кукушка, и часъ, и другой...
И разъ пять я сбивался со счету;
А она мнѣ съ укоромъ замѣтитъ:—«ну-ну!..
— Признаюсь... ты мнѣ задалъ работу!!...»

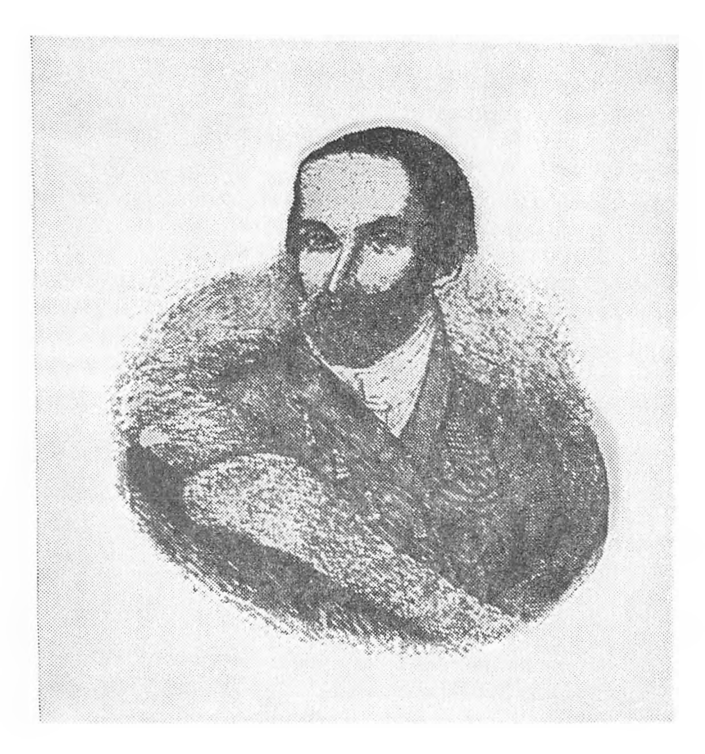
Отдохнетъ на минуту—и примется вновь
За свое безконечное дѣло...
Я былъ даже не радъ, что ей задалъ вопросъ,—
Мнѣ давненько считать надоѣло.

И оставивъ ее—я вернулся домой..
И пора пообѣдать настала,—
Но изъ сада ко мнѣ несся жалобный стонъ...
То вѣщунья моя куковала.

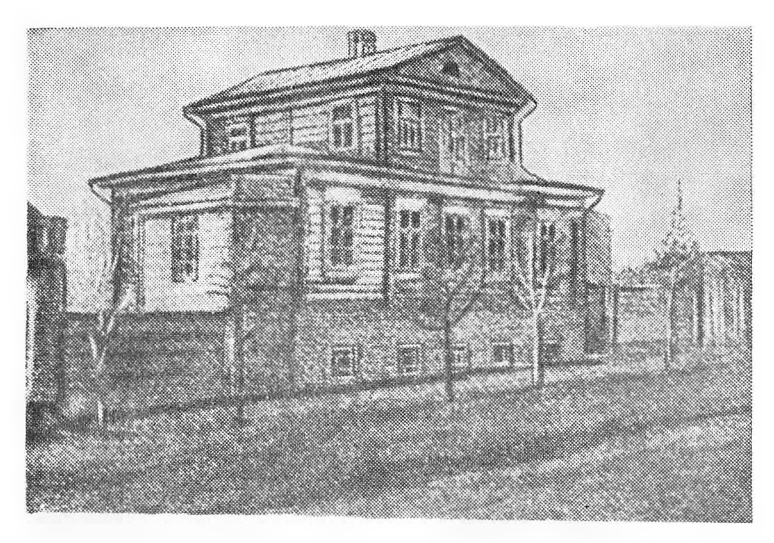
Вотъ и вечеръ подкрался... И солнце давно
Закатилось за лѣса верхушки;
А въ саду не смолкала тоскливая пѣснь
Обреченной на муку кукушки...

Ночь на землю спустила свой темный покровъ,
Въ тишинѣ вся окрестность заснула,

рукою цензора...

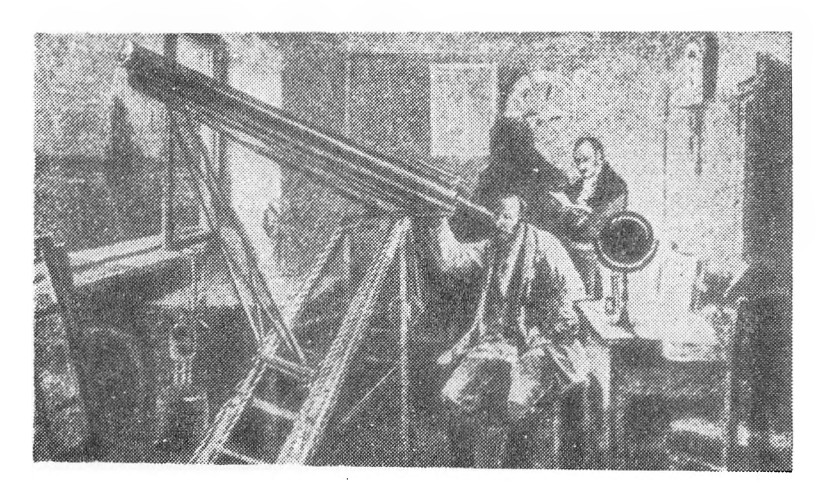


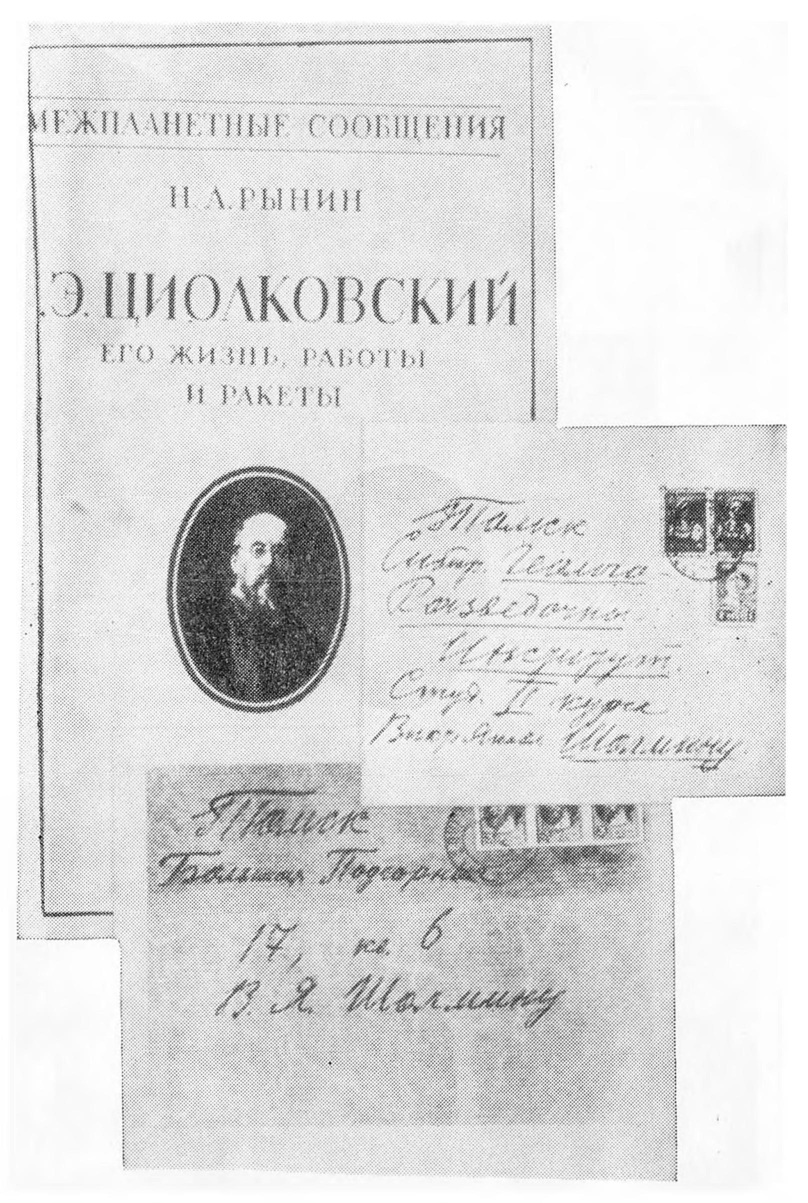
Федор Алексеевич Семенов.



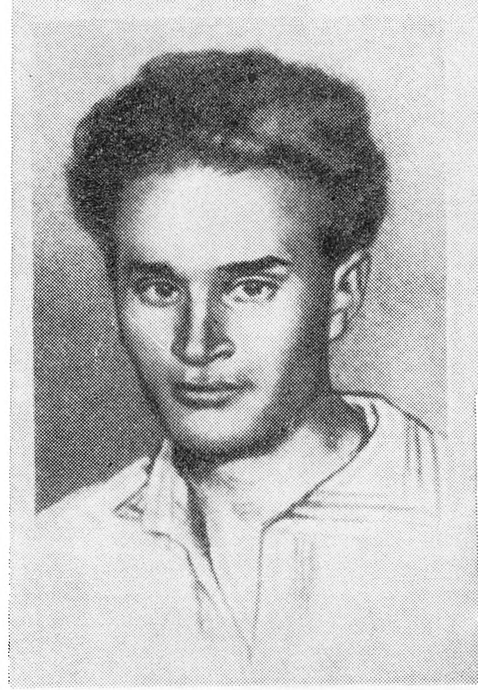
Дом Ф. А. Семенова в Курске

Ф. А. Семенов в своей обсерватории





Студенту В. Шолмину от Константина Эдуардовича Циолковского.



Книга, которая могла бы стать бестселлером.

ЗА РОДИНУ

РУССКИЕ ЛЮДИ!

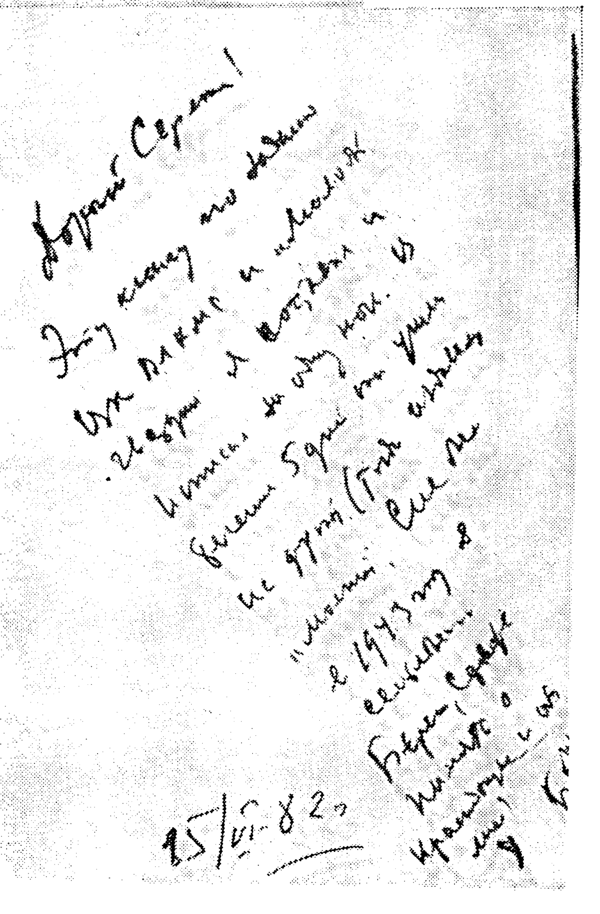
Газеты и листовки подпольщиков.



«Спутник партизана».

ГЕРОИ
КРАСНОДОНА

(Материалы и документы о работе в тылу врага подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»)



Автограф, полученный через сорок лет.



Книги, опаленные войной.



Памятки суровых годин.

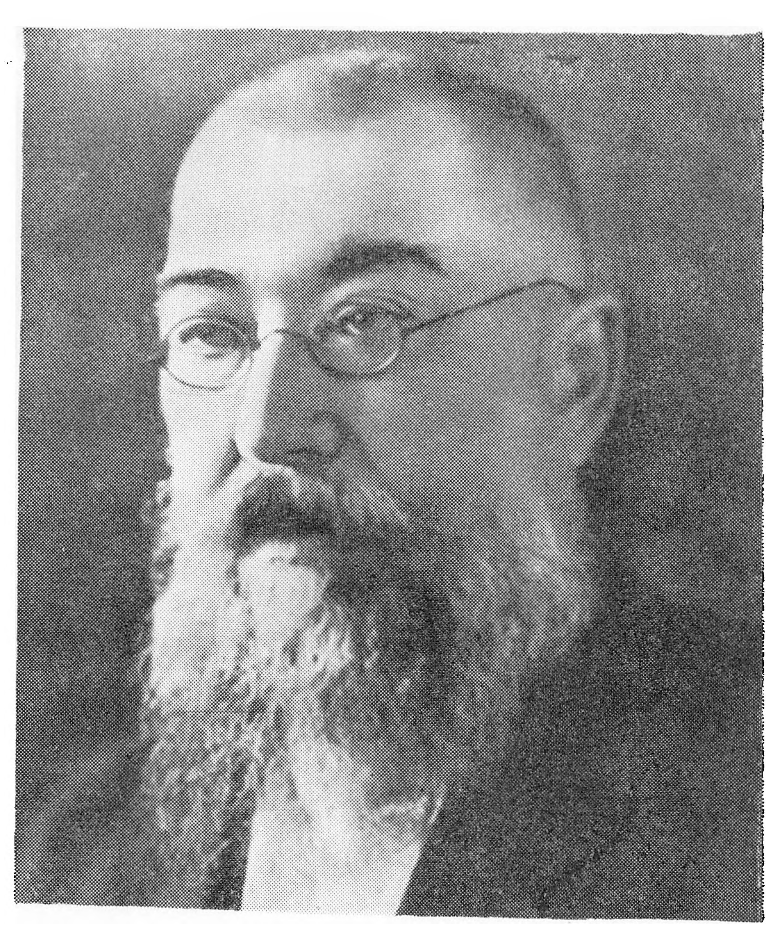


Книги из детства.

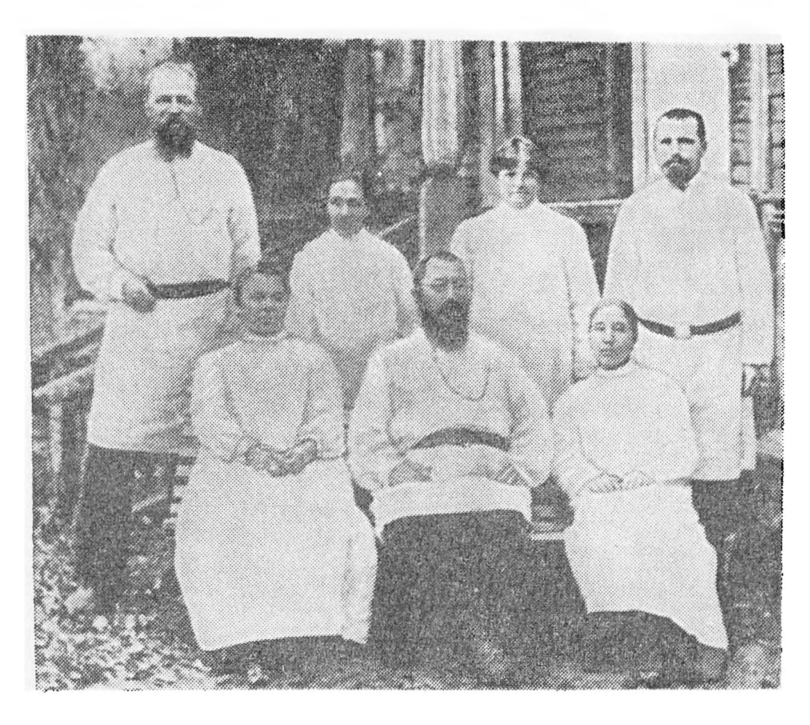


С. Ф. Антонов на родине с односельчанами.

Школа в Мокром, построенная Г. И. Антоновым.



Доктор Павел Дмитриевич Борщов.



Персонал больницы в Мокром.
В центре — доктор П. Д. Борщов.

но писать про этого настоящего сподвижника Ленина, скромного и органически, глубоко преданного коммунизму, трудного и сложного человека».

Любители поверять художественное произведение об историческом лице прикладыванием биографических справок с подписями и печатями нашли бы, и без труда, много недостатков в фильме. В картине был не только Мичурин, сколько сам Александр Петрович Довженко: его жизнь и муки, его мечты и борьба... Нет нужды доказывать, что сближало этих двух людей (вспомните только мечту об украшении земли!).

Юлия Ипполитовна Солнцева, жена, верный друг и художник, воплотившая ряд незавершенных замыслов Довженко, прочтя набросок этого эссе, что ли, сделала замечания не на тексте рукописи, а на специально вложенных листках бумаги (вежливость и такт!), работу похвалила, но недовольно заметила:

— Странный вы народ, писатели и журналисты! Фильм «Мичурин» — случайный в творческой биографии Довженко. Его тема — Украина. Он писал этот сценарий для меня, а когда мне ставить его не разрешили, взялся сам.

Я кое-что знал об этом. Но при всей авторитетности заявления Юлии Ипполитовны я не могу смириться с такой версией: все-таки поставил сценарий (стал бы Довженко снимать не «свой»!), а не положил в стол. И потом главное: Александру Петровичу, насколько я понимаю, необходимо было выговориться, освободиться хотя бы отчасти от мучивших его мыслей, от напора которых можно было взорваться даже (или легче всего?) духовно могучему человеку. Сценарий о Мичурине давал такую возможность, и упустить ее означало обречь себя на мучительные, бессонные ночи, беспокойные дни, на творчество без выхода в народ.

«Мичурин» был принят кинематографическим ведомством и передан на рассмотрение выше.

В дни, когда стало известно, что картина вызвала критику, а Довженко был на приеме у А. Жданова, я встретил Александра Петровича все в том же темноватом коридоре на четвертом этаже и спросил о судьбе фильма.

— Жданов сказал, что фильм можно выпустить и в таком виде, но рекомендовал подумать над замечаниями... Просил... Тогда бы он стал еще лучше... Полезнее народу...

Вкратце рассказал о замечаниях или просьбе: надо показать Мичурина великим ученым, показать его метод, показать значение его открытий. Подчеркнуть это в фильме...

Довженко сдержан. Ни сожалений, ни ответных замечаний, на что был так способен Александр Петрович...

А ведь он был прям, непримирим и не считался с авторитетами, когда нужно было высказать свою точку зрения. Уж чего-чего, а преклонения перед чином у Довженко не могло быть и в помине. Всем это известно из многочисленных схваток Александра Петровича с начальством, от которого он целиком зависел.

Выходит, решил, что надо, надо подумать о переделке картины...

Вспоминалось, что мысль о постановке «Щорса», одного из лучших советских фильмов, подсказана Довженко Сталиным. Что-что, а это уж каждый кинематографист знал. Знал в подробностях рассказ Александра Петровича о знаменательной встрече, помнил и его с досадой и укором самому себе тяжело оброненные слова: «И как это я сам не догадался?!»

Можно было предположить, что Александр Петрович действительно стал переделывать «Мичурина», все же считая, что так будет, пожалуй, лучше... Так надо... Тем более, что картина была легко уязвима.

Я видел ее и переделанной. Мало что осталось от прежнего. Уцелел «проход» Мичурина после смерти жены, кусок исключительный по силе, но он как-то «повис» в соседстве с новыми эпизодами.

Пожелания Довженко выполнил. В новом варианте отражено отношение к Мичурину народа до революции, его связь с прогрессивными деятелями прошлого века. Не одиночка! Много прибавлено, но многое и ушло.

В этом виде картина и вышла на экран.

Фильмов снимали в те годы мало. «Полезность» искусства часто понималась до примитивности грубо, и отсюда бесконечные претензии к сценарию и фильму...

Пройдет время, и я прочту в его «Дневнике»:

«5—IV

«Жизнь в цвету»

Вот уже сколько лет тянется моя жизнь в цвету. Я написал ее как повесть и как пьесу. Я выстрадал ее как цветной фильм, выжал и выстонал, изнемогая от

приступов стенокардии и тупого бюрократизма. Потом, когда все, наконец, с таким предельным трудом было сделано, когда картина стала жить и радовать даже натасканных снобов, я попал в удивительную мистическую полосу ее обсуждений на художественном совете большом. Потом министр куда-то бегал с нею...

Теперь меня уже опять распинает киноорганчик. Я сижу целехонький день за столом.

Я должен попирать, отвергать созданное, ненавидеть то, чем восхищался, что создано из многих тонких компонентов. И написать произведение-гибрид — старую поэму о творчестве и новую поэму о селекции. А сердце болит. И часто, идя от стола после целого дня трудов, я оглядываюсь на сделанное — как его ничтожно мало.

А усталость такая, будто целый день ворочал камни в тревоге».

Много было очередных планов, но Александр Петрович взялся за «Открытие Антарктиды». Тема эта не случайна в его творчестве (Циолковский, Мичурин, русские герои-мореплаватели — все это тот тип людей, к которым принадлежал и сам Довженко), но пришел он к этой теме не без помощи случая.

Сценарная студия готовила сценарий о подвиге русских моряков. Писал его отличный кинодраматург Георгий Гребнер. Александр Петрович, бывший долгое время членом редколлегии сценарной студии, должен был или захотел помочь Гребнеру: уж больно близка и родственна была эта тема Довженко, и очень хотелось в этом сценарии увидеть больше поэзии. Но случилось так, что Довженко увлекся и написал сценарий заново. Это было самостоятельное, если не считать материала и исторических имен, произведение. Основной его стала книга Ф. Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане». Довженко подчеркивал, что в сценарии нет выдуманных персонажей — все они взяты из записок знаменитого мореплавателя.

Все шло хорошо, и можно было только радоваться: Довженко будет ставить фильм о героизме, фильм, прославляющий русского человека. Сценарий поэтический, с необычной фактурой — льды, торосы, снежные и ледяные поля, просторы океана, — легко себе представить, как все это развернет Александр Петрович в фильме, как засверкает красота человеческая, преданность высокому идеалу.

Последней и, собственно, решающей инстанцией для сценария был тогда «большой», как его называли, худсовет, заседавший по четвергам. Художественный совет Комитета по делам кинематографии. Без санкции художественного совета не ставился и не выпускался ни один фильм.

Еще не приступили к обсуждению, председатель читал представление главка, как всегда начинавшееся с названия фильма и имен авторов:

— «Открытие Антарктиды». Авторы сценария Г. Гребнер, А. Довженко. Режиссер А. Довженко. Киностудия «Мосфильм».

И тут Александр Петрович, сидевший где-то у самого входа, поднялся:

— Разрешите сделать заявление. Этот сценарий написан мною единолично.

Председатель худсовета заметил председателю кинокомитета, что нужно прежде разобраться с вопросом авторства, а потом уже представить сценарий для обсуждения.

Конечно, все это можно было легко урегулировать...

Однако сценарий, «вылетев» из повестки дня заседания художественного совета, уже больше в нее не вернулся. Случайность, мелочь, в общем-то нелепость, но в определенных условиях и она играла роль. А ведь этот фильм мог быть в активе Довженко.

Много труда вложил Александр Петрович в сценарий «Прощай, Америка!», толчком к написанию которого послужила книга Анабеллы Бюкар «Правда об американских дипломатах». На этот раз фильм запущен в производство. Съемки в разгаре. Но при очередном рассмотрении плана в инстанции ряд картин, в том числе и фильм Довженко, из него исключен. Съемки их приостановлены, приостановлены и съемки картины Довженко, хотя снята чуть ли не половина ее.

...Каждый отрезок времени нашей быстро меняющейся жизни, пусть и небольшой, имеет свой колорит и цвет, свои нравы. Без них невозможно понять и самое время и законы, по которым жили люди. Если человек ходит между нами, с нами ест, с нами говорит — его трудно признать безоговорочно великим... Порою казалось, и это была дань атмосфере, вне которой не мог жить никто, порою казалось, что какие-то шаги Александр Петрович делает не в ту сторону. Казалось, что иногда заметны в поведении Довженко поза, кап-

риз. Подчас он выглядел человеком, которого справедливо критикуют, справедливо наставляют на путь истинный, рождалась своего рода убежденность, что без этой опеки он заблудится и непременно пропадет. Сейчас это звучит странно, но мне не хотелось бы подправлять историю или, говоря не так громко, не хотелось бы писать хоть немного иначе, чем в меру своих сил представляю себе события и людей.

Помню одно из многочисленных совещаний все в том же Малом Гнездниковском. Оно было посвящено фильмам на колхозную тему.

Доклад поручили Довженко.

Что сказать? Доклад был интересным, как и все, что говорил Александр Петрович. Но части слушателей он показался не на тему, они считали, что Довженко «занесло». Он много времени посвятил проблеме воспитания, особенно любезной ему учтивости и почтения к человеку и его труду... Возмущался бодрыми экранными героями, которые бродят из фильма в фильм развязными, грубыми, входят в избу и не считают нужным снять шапку или кепку, не здороваются друг с другом по-человечески, а обмениваются уродливыми словечками, недостойными людей...

Многие из нас мерили тогда жизнь другими категориями и в разговоре о так называемых «колхозных фильмах» ожидали акцентов на другом, допустим, на проблемах руководства. А тут «поднят вопрос» о красоте человека.

Через много лет — за эти годы я не раз слышал высказывания людей, умевших легко попадать в заданный тон, что Довженко окончательно занесло, — через много лет я еще раз испытал странное чувство, пожалуй, такое же, что и на совещании по «колхозным фильмам».

Шел II Всесоюзный съезд писателей. Длинная череда ораторов проходила через трибуну. Колонный зал то наполнялся, то пустел — в зависимости от объявленной фамилии выступавшего. Но заседание в общем-то шло стройно, ладно, одно выступление к одному... Александр Петрович, казалось, снова заговорил «невпопад». Стал защищать Эйзенштейна, доказывать необходимость включения в творческую палитру страдания, говорить о космосе...

Довженко говорил:

— Я верю в победу братства народов, верю в ком-

мунизм, но если при первом полете на Марс любимый мой брат или сын погибнет где-то в мировом пространстве, я никому не скажу, что преодолеваю трудности его потери. Я скажу, что я страдаю. Я прокляну небесные пространства и буду плакать по ночам в своем саду, закрывая шапкою рыдания, чтобы не спугнуть соловья с цветущей вишни, под которой будут целоваться влюбленные.

Александр Петрович всегда с любовью говорил о людях труда. С гордостью произносил слова — интеллигент, крестьянин, рабочий. Бранное слово для Александра Петровича: «Не интеллигент!»

Интеллигентами в самом высоком смысле у Довженко были и дед-пчеловод, и рабочий-строитель, и писатель, если их души раскрыты для красоты, добра, хорошего слова. Не интеллигентом мог быть самый внешне респектабельный, внешне интеллигентный человек — какой-нибудь начальник, режиссер, девушка-секретарь.

Бранился и по-другому. С нескрываемым, даже подчеркнутым презрением бросал:

— Полуинтеллигент!

Служить народу порою бывает трудно. Это служение не терпит конъюнктуры, приспособленчества, принятия похвал не за подлинное дело и, наоборот, сдачи позиций после несправедливой разгромной критики, как это было, например, с кинофильмом «Земля», зло осмеянным Демьяном Бедным.

Служение, а не прислуживание — пожалуй, в этом был весь Довженко.

Летом 1943 года в Комитете по делам кино началось совещание, цель которого — обсудить тематический план кинофильмов. Собрались писатели, режиссеры, сценаристы, работники аппарата ЦК партии и ЦК комсомола. Только что была закончена картина «Русские люди» по пьесе Симонова, и ее показали участникам совещания. Оно длилось три дня, много было выступавших. Память и короткие записи сохранили только некоторые мысли двух — Александра Довженко и Леонида Соловьева.

Лето 1943 года еще было тяжелым, родная Александру Петровичу Украина — под немецким фашистом. Довженко говорил о народе в войне, о «неопалимости советского человека» как об одной из главных тем советской кинематографии.

Оратор сменял оратора. Руководитель комитета, кинодраматург М. В. Большинцов, критик и сценарист О. Л. Леонидов... Аудитория начала уставать. Получил слово сидевший у окна Леонид Соловьев. Именно в это время у него вышел фильм о войне, не отличавшийся большими художественными достоинствами. Не все слушали Соловьева внимательно. Но вот он, говоря о роли и значении писателя, стал пояснять, что такое «кузнец» и что такое «молотобоец». Кузнец — мастер. Леганьким молоточком он показывает, куда бить, и молотобоец гвоздит кувалдой в указанное место. Нет, он не думает, ему это не нужно... Бьет и бьет...

Довженко — он сидел где-то у двери, намного впереди Соловьева — повернул голову: интерес и любование. Пожалуй, он уже догадывался, о чем будет речь дальше.

В словах Леонида Соловьева прозвучала мысль: в своих произведениях писатель должен быть кузнецом.

— Мы подчас занимались обслуживанием народа, а нужно служить ему.

И тогда, когда эти слова были произнесены впервые, и особенно потом, много лет спустя, после огромнейших сдвигов в стране, жизненность и значение высокой правды о подлинном служении народу можно было проиллюстрировать не одним примером из области литературы и искусства.

Я не раз вспоминаю о словах Леонида Соловьева, радуюсь, когда из искусственно созданного «забвения» всплывают имена Андрея Платонова, Михаила Булгакова, не говоря уже о Сергее Есенине, давно по сравнению с другими возвращенном или возвратившемся к народу. Служили! И остались, несмотря ни на что.

Кто-кто, а Александр Петрович знал, что такое «обслуживание» и что такое «служение». Не знаю, подходил ли Довженко к автору «Возмутителя спокойствия», говорил ли ему что-нибудь, но выступление писателя, конечно же, не могло не порадовать страстного поборника искусства, призванного преобразовать жизнь, сделать землю красивой и на ней красивым — человека.

Первого марта 1944 года Довженко занесет в дневник: «Писатель, когда он что-то пишет, должен ощущать себя на уровне, на высоте наивысшего политического деятеля, а не ученика или приказчика».

Перечитывая эти строки, я вспоминаю не только

Александра Петровича, но и выступление Соловьева, предметно вижу умение Довженко философски обобщать, переводить в более крупный масштаб то близкое ему, что было и у других братьев по духу. Нет, он был не один, Александр Петрович... Но по яркости во многом был первым.

Позднее, на заседании коллегии Министерства культуры СССР, куда в то время входило кинематографическое ведомство, я услышал предложение и просьбу Довженко:

— Если позволено будет, я хотел бы сам прочесть текст от автора.

Речь шла о фильме «Поэма о море», к съемкам которого должен был приступить Довженко. В те времена дикторскими текстами, порою очень пространными и назойливыми, сопровождались документальные и научно-популярные фильмы, а вот художественные... Думаю, одним из первых, если не самый первый, кто ввел у нас дикторский текст в художественный фильм, был Александр Петрович. Ведь всего за несколько лет до этого после просмотра одного зарубежного фильма, кажется «Цитадели», где за кадром звучал голос героя, один из руководителей кинематографии заметил: «Мистика!». Действительно: человека мы не видим, на экране — река, но звучит его голос, внутренний монолог. «Река говорит! Мистика!».

Это был, как часто случалось у Довженко, прорыв через сложившиеся представления о том, что в кино можно и чего нельзя.

Но это была и учтивая просьба человека, который терпеть не мог нескромности. Вот так и получилось: один из основоположников советского кино просил коллегию Министерства культуры СССР разрешить ему — что? Всего лишь самому прочесть текст от автора. Да теперь молодой режиссер, приди ему в голову такая идея, не спросит на это разрешения даже у директора студии, на которой работает. Мир вместе с директором узнает об этом деянии после того, как оно совершится. А к голосу от автора в художественных фильмах так привыкли, что не замечаем его.

Всем известно, как образно и ярко говорил Александр Петрович. Он же в одной фразе мог дать и точную оценку фильма, коротко сказать главное о нем.

Режиссера Л. сильно критиковали за фильм о Донбассе, в котором будто бы восстановление шахт было

показано чересчур уж кустарно, примитивно, а быт самих шахтеров — вроде как искаженно: они много пили, жили в плохих бытовых условиях...

В ответ на критику режиссер поставил своего рода «супербоевик». Шахты были просторными, хорошо освещенными, в них можно было танцевать. Шахтеры на праздничном вечере пили шампанское и лимонад... Но главное — шахты, шахты...

Просмотр был, насколько помню, не в Малом Гнездниковском, а почему-то на студии.

Когда кончилась картина, Александр Петрович обернулся — я сидел сзади — и сказал:

— Метрополитен, завернутый в целлофан.

В апреле 1943 года в кинокомитете состоялся один из первых просмотров мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бемби». Пожалуй, впервые советские кинематографисты видели полнометражный и на «серьезную» тему рисованный фильм. Все поражало. Глубина постижения жизни... Человечность... Невиданное еще мастерство и сама техника мультипликации: на много лет та или иная находка в «Бемби» стала вольным или невольным предметом подражания. Все запомнили краски лета, осени и зимы... Бой двух оленей... А победитель, который смотрит в пропасть! А сам Бемби с заплетающимися ногами и влажными большими трогательными глазами... Величавый и мудрый олень, как памятник на скале... Огоньки и дым стоянки людей в лощине, внизу, под высоким обрывом. Там — враги, существа, несущие смерть. Ни один из них не показан — только огоньки и дым...

По лестнице мы спускались вместе с Довженко. Освещение было «дежурное». Постукивая палкой о каменные ступени — ковров еще не стлали, — Александр Петрович не сразу заговорил. Картина произвела на него сильное впечатление, но его похвалы не вмещались в одну фразу. Да и сама картина заставляла не столько говорить сразу же после просмотра, сколько размышлять.

В конце октября — просмотр документального фильма «Битва за нашу Советскую Украину», организованный для нашей и зарубежной прессы. В фильме этом — и невиданный героизм народа, и его невиданные страдания...

О просмотре долго потом говорили в Москве, пере-

давали разговор Довженко с английским корреспондентом.

Александра Довженко окружают друзья, журналисты... Поздравления, вопросы... Корреспондент английской газеты спрашивает:

— Господин Довженко, будете ли вы переводить этот фильм на украинский язык?

— Если бы это зависело от меня, я бы не переводил фильм на украинский язык. Не переводил бы!

— Почему?

— Украинский народ видел столько смертей, горя, столько перенес страданий, что я не переводил бы фильм на украинский язык. И так понятно. Но вот на английский, простите, перевел бы обязательно!

Александр Петрович много писал и, как всякий автор, хотел видеть свои произведения напечатанными. Как-то я встретил его на утомительно-длинной лестнице издательства «Советский писатель». Наверх — ходил лифт, вниз с одиннадцатого этажа нужно было спускаться по лестнице. Александр Петрович «хлопотал» об издании своей книги. Но сейчас его занимал не разговор о ней.

— О людях этого дома можно поставить фильм, — сказал Александр Петрович. — Все действие разворачивается здесь, в комнатах и этих бесконечных коридорах и лестницах...

Подобные фильмы и повести во множестве появились потом. А книгу тогда Александр Петрович так и не издал. Мне почему-то казалось, что, появись на свет эта книга, Довженко подарил бы ее мне с надписью. Но книга не появилась.

Отлично изданные сейчас томики Довженко стоят у меня в шкафу. Но автографа на них нет.

Как-то, будучи в Переделкине, я дошел до соседнего Мичуринца и разыскал недавно построенную дачу Довженко. Это, конечно, примечательно, что Александр Петрович поселился не где-нибудь, а в дачном поселке с дорогим ему именем. Участок — на углу, образованном двумя улицами, одна из которых теперь называется улицей Довженко. Мне показалось странным, что сравнительно большая дача поставлена тылом почти впритык к высокой стене леса, а перед нею что-то вроде большого пустыря. Что за красота открывалась, если посмотреть из окон парадной части дома? В самом доме, конечно, бревна не были скрыты ни штукатуркой,

ни обоями, и от желтовато-коричневой древесины веяло теплом и сухим лесом, разгаром лета и здоровой плотью... Но вот вид из окон!.. Гм... Гм...

Я побывал в Мичуринце и много лет спустя. Перед домом разросся яблоневый сад, да так, что и дом с улицы не сразу увидишь... Великолепно! Есть на что полюбоваться и хозяевам и всем, проходящим мимо...

Александр Петрович видел этот сад в своих мечтах, когда ставил дачу именно так... Он видел будущее...

Сады, которые должны по замыслу Довженко украсить землю... А самого Александра Петровича к тому времени уже не было в живых.

Об этом человеке еще долго будут ходить легенды...

ЭЙЗЕНШТЕЙН

Нам во ВГИКе преподавал Сергей Михайлович Эйзенштейн. Запомнить всех своих слушателей, особенно поначалу, ему было трудно, а то и просто невозможно.

Встречая в коридоре группу студентов, Сергей Михайлович первым протягивал руку, здороваясь со всеми, независимо от того, знакомый это или незнакомый, допустим, студент с курса, где Сергей Михайлович лекций не читал.

Главное — не обидеть, хотя бы и невзначай.

...Человек, поставивший по мировому признанию лучший фильм всех времен и народов...

Я часто вспоминаю об этом. Вспоминаю и тогда, когда бездарность, мнящая себя величиной и талантом, или человек, случайно облеченный властью, не стесняясь, а гордо и надменно демонстрирует свою глубокую и неисправимую невоспитанность.

ГДЕ-ТО ПОД ВЯЗЬМОЙ

На рассвете июльского дня длинная, казалось, без конца, колонна, свернула с Ленинградского на Волоколамское шоссе. В ее нестройных рядах можно было увидеть и двадцатилетних и пятидесятилетних, здоровых и не очень здоровых, профессоров и людей с начальным образованием... В костюмах и куртках, неопределенного цвета плащах они шли кто с заплечным мешком, а

кто — за неимением ничего более подходящего — и с портфелем в руке.

Шли на фронт.

Шагал в этой колонне и Николай Михайлович.

Профессор Всесоюзного государственного института кинематографии, историк и теоретик кино, Николай Михайлович Иезуитов жил, как и некоторые другие преподаватели ВГИКа, в студенческом общежитии во Всехсвятском, в одном из домов постройки 30-х годов, с окнами — сплошными полосами стекла от угла и до угла. Жил через одну комнату с нами. Мы, студенты, занимали вдвоем по комнате, и он с женой — тоже. Мне как-то пришлось раз-другой по какой-то надобности заглянуть к Иезуитовым. Теперь я удивляюсь, как можно было расположиться с женой в одной небольшой комнатке, забитой книгами и рукописями, причем выкроить место для работы, для зеркала и для готовки: комнатка служила и кухней — на тумбочке стояла электрическая плитка.

Но тогда это не вызывало удивления. Профессор Валентин Константинович Туркин, основоположник теории кинодраматургии, автор сценариев известных фильмов, жил в комнате-пенале в доме на площади Пушкина, некоторые работники Комитета по делам кинематографии при СНК СССР, преподававшие во ВГИКе, в кельях уцелевшего братского корпуса бывшего Зачатьевского монастыря.

Все знали, что главным трудом жизни Николая Михайловича Иезуитова была «История советского киноискусства». Одна из ценностей его труда заключалась в том, что Николай Михайлович был очевидцем этой истории и одним из активных ее творцов. Среди многих дел, которыми он занимался — заведывание секцией киноведения Государственной академии искусств и руководство киноведческой аспирантурой. Да и во ВГИКе преподавал не с кем-нибудь, а с Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, Ю. Желябужским, А. Левицким и многими другими зачинателями советской кинематографии. Еще в 1934 году Николай Михайлович создает общий очерк истории советского киноискусства — один из подступов к капитальному труду, которому посвятил жизнь. Короче говоря, Николай Михайлович был живой историей нового и совсем молодого еще тогда вида искусства.

Когда грянула война, студенты и преподаватели

ВГИКа добровольно вступили в ряды народного ополчения Ростокинского района Москвы. Вступил, конечно, и Николай Михайлович, тихий, скромный, чистой души человек, о котором, как я вспоминаю теперь, не ходило в студенческой среде ни анекдотов, ни каких-либо россказней. Он жил, весь поглощенный своей работой по истории кино. Это, конечно, не значит, что он был отшельником, чуравшимся радости общения с людьми...

Нам достался район под Вязьмой. Что такое Вязьма в условиях первых месяцев войны, люди, прошедшие фронт, знают.

Ополчение на ходу обмундировывалось, на ходу вооружалось, наконец влилось в ряды регулярной Красной армии. Большую часть нашего времени и сил занимали марши по 20—30 километров за ночь и рытье окопов днем. Все стали равны — студенты, доценты, разнорабочие, служащие, деканы факультетов... Да, война всех уравняла. Только не нас, студентов, с Николаем Михайловичем. Он как был, так и остался особенным. А Николай Михайлович вдруг куда-то пропал. Мы часто его вспоминали, знали, что он где-то здесь, с нами, но долго не знали, где именно и кем служит.

Как-то на марше, когда строй нарушился и многие шли группками, я оказался рядом со своим деканом Морозовским.

— Сережа, — спросил он, — у тебя не найдется глотка воды?

Я протянул ему алюминиевую фляжку.

— Есть! — обрадовался он. — Я два глоточка!..

Отпив, сказал радостно:

— Нектар! Поистине нектар!

Мы немного поговорили, и он пошел догонять свой взвод.

Больше я не видел своего декана ни там, под Вязьмой, ни после войны. Он погиб. В ту последнюю встречу я и узнал от него, что Николай Михайлович служит писарем при штабе батальона.

Когда поступил приказ Верховного Главнокомандующего о возвращении на учебу студентов старших курсов, мы сдали свои карабины — у нас почему-то вместо винтовок были немецкие карабины, — сдали минометы и пулеметы и явились в штаб за получением паспортов. Из землянки вышел Николай Михайлович и в присутствии начальства начал раздавать нам паспорта. Тем самым мы увольнялись из действующей армии.

...Последний паспорт вручен.

Все!

Сейчас мы сядем в кузов трехтонки, и через какое-то время — Вязьма, вокзал, поезд на Москву, наш институт.

Есть вещи, о которых не пишут, боясь быть превратно понятыми, и мне сейчас нелегко переступить невидимую, но хорошо осознаваемую черту. Но все-таки я попытаюсь...

Сделав свое дело, Николай Михайлович помолчал минуту и, когда пришла пора прощаться, очень просто сказал:

— Ребята, скажите в институте, чтобы меня вернули к вам. Пусть похлопочут...

По-разному можно отнестись к такой просьбе: осудить, если не прямо, так за глаза, значительно снизить цену такому человеку, которая была — выше некуда. Но никто не осудил Николая Михайловича. Все поняли движение его души правильно.

Никто не просил, тем более, не обязывал Николая Михайловича вступать в народное ополчение. Но для него не могло быть раздумий: он с институтом, со своими студентами! Куда они, туда и он, судьба у них одна... И вот теперь, когда мы возвращались в институт, он снова хотел быть с нами.

Сердечно простился он с каждым из нас и долго стоял у землянки, пока наша трехтонка не скрылась из глаз.

Через несколько недель мы узнали, что Николай Михайлович погиб.

...Как-то, много лет спустя, я побывал под Вязьмой. Нашел тот лесочек невдалеке от дороги, где нам довелось стоять дольше, чем в других лесах и лесочках. Приехал, чтобы еще раз побывать в памятных на всю жизнь местах, отдать долг памяти Николаю Михайловичу. Ведь он пал где-то в этих краях...

Ссылки на труд Николая Михайловича Иезуитова можно встретить в специальной литературе, но уже мало кто знает, почему труд этот так и остался незаконченным. Мне очень хочется, чтобы люди узнали: Николай Михайлович не дописал своей книги, но свой гражданский долг он выполнил до конца!

ПЛАНЕТА БИРЮКОВА

Это было время, когда вышел роман Николая Зотовича Бирюкова «Чайка». Новая книга о героине Великой Отечественной войны Лизе Чайкиной стала одной из самых популярных среди молодежи. Радио передает главы из книги... Киностудия «Союздетфильм» намеревается поставить по роману картину... Театры хотят инсценировать «Чайку», книгу высокого патриотического накала...Она переведена и издана во многих странах...

Мне, работавшему в те годы в одном солидном учреждении, довелось сопровождать мать Лизы Чайкиной и работников Пеновского райкома комсомола к автору романа.

Жил он тогда на Русаковской улице, за вокзалами. Я созвонился, и мы поехали. Улицы этой я не знал, у Бирюкова никогда не был. Случилось так, что, неправильно записав адрес, я начал искать дом номер одиннадцать, помеченный у меня на бумажке. Но на месте, где он должен был стоять, к моему удивлению и беспокойству, оказался небольшой пустырь: что-то здесь стояло, а теперь снесли...

Чайкина, крепкая тогда старуха — может, и не была ею по годам, но по лицу казалась старой — вела себя с достоинством много сделавшей в жизни крестьянки, человека, которого не упрекнешь ни за прошедшее, ни за настоящее и — само собой — не будет повода и за будущее, и не обращала никакого внимания на мелочи и неудобства поездки в метро и еще на каком-то виде транспорта. Никак не прореагировала она и на эту промашку с номером дома. Однако работник райкома комсомола, молодая женщина с претензиями, возмутилась: как же это я не знаю, где живет Бирюков? Надо было уточнить, прежде чем ехать. Наверное, все это высказывалось мне ради матери Лизы Чайкиной, которую работник райкома старалась, если можно так сказать, преподнести как некую важную особу.

Но сама Чайкина никак не хотела выглядеть важной особой, и ей, казалось, небезынтересно было и это маленькое приключение.

Меж тем я узнал, что дома одиннадцать вообще нет: девятый, а потом — тринадцатый...

— Может, вам нужен первый? — спросил меня мужчина из местных. — Кого вы ищете?

— Николая Бирюкова...

— Дом номер один...

Мы вернулись — нужно было пройти всего несколько десятков метров — и легко нашли нужный дом.

...Ну вот, сейчас состоится свидание матери героини романа с его автором. Непростое это дело, такие встречи.

Когда вышел на экраны «Чапаев», кто-то из близких Василия Ивановича — или даже не один — не хотел признавать в Бабочкине подлинного Василия Ивановича. «Чапаев был не такой!» Известно, что самым суровым критиком исполнителей ролей Ленина и художников, воссоздававших его образ, была Надежда Константиновна Крупская.

Можно понять близких. Насколько далек даже в самом талантливом воплощении образ исторического лица от того, кого родные носят в своем сердце, в душе, кто и поныне просто дочь, сын или муж, кто и поныне — среди них. Между образом, созданным художником, и образом, живущим в памяти близкого человека, без преувеличения можно сказать — пропасть. Да и не может быть иначе.

Но искусство беспощадно.

Существует уникальный кинодокумент — живой Чапаев в папахе стоит возле какого-то вагона. Подтянутый, чистенький, в аккуратно пригнанной ременной амуниции. Покажите этот кадр и покажите Бабочкина в роли Чапаева. Думаю, что для подавляющего большинства зрителей «настоящим» Чапаевым окажется актер из фильма. Авторы кинопроизведения сумели убедить нас, что комдив был именно таким и никаким другим быть не может, а насколько он похож на подлинного Чапаева, не так уж важно...

Нас впустили в коридорчик, из него мы прошли в небольшую комнату, где лицом к окну лежал Николай Зотович Бирюков. Мы сели, начался разговор.

Мать Лизы, простая русская женщина-крестьянка, была полна сострадания к человеку, лежащему перед нею. Прежде всего, никакой он для нее не писатель, а сынок или младший брат, которому пришлось в жизни, думая о других, хватить лиха полной мерой... И еще — душевный человек, потому что написал о хороших людях, стоит за добро, против зла, ну и, в общем-то, писатель, выходит, раз все это напечатано, книга издана и люди читают ее... Но это уж после всего остального...

Николай Зотович говорил, а пожилая женщина с достоинством слушала, и мне казалось, думала о своем, никак не изменяя своего отношения к Николаю Бирюкову: «Сынок... Сынок... Братец младший... Как же тебе нелегко и какой же ты молодец...»

Чайкина почти все время молчала. Когда разговор зашел о том, над чем работает писатель сейчас, Николай Зотович тихо улыбнулся, помедлил. Потом стал рассказывать.

Редакция солидной газеты или журнала — не помню сейчас точно — командировала Николая Зотовича в село написать очерк о местной знаменитости, о замечательной колхознице — не то доярке, не то животноводе — добившейся великолепных показателей. Николай Зотович Бирюков, человек, прикованный недугом к постели, человек, который мог передвигаться только с помощью других, добрался до села. Познакомился с героиней будущего очерка. Теперь дело за малым — выслушать, понаблюдать ее за работой и писать, вставляя в свой текст цифры достижений, известные даже в Москве.

Но Николай Зотович вернулся домой и никакого очерка не написал. Позвонил в редакцию и сказал, что писать ничего не будет: знаменитость — дутая, во славу ее работало несколько человек... Все это — обман и надругательство над людьми подлинного трудового подвига...

Потом снова заговорили о «Чайке». Николай Зотович рассказывал о многочисленных письмах читателей, об их любви и уважении к Лизе, о том, что подвиг сделал ее бессмертной...

Долго слушала Николая Зотовича мать Лизы. Кому, как не ей, знать, какая она была в жизни, что писатель воссоздал верно, что упустил, что преувеличил, что придумал и о чем совсем не догадывается... Мать слушала молча, ни разу не перебила, ничего не спросила, не вспомнила... А потом тихо и просто сказала:

— А Лизы-то нет...

Никогда не проходящая боль материнского сердца была в этих словах.

Помню писательский съезд. Светлый, величественный, самый величественный, какой только знаю, Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. У окна

на коляске лежит Николай Зотович. Голова, как всегда, повернута немного набок... Окружен товарищами. Все новые люди подходят, здороваются. Но вот кончается перерыв, все уходят в зал заседаний, а он остается здесь, лежит и слушает выступления по радио...

У Николая Бирюкова была нелегкая судьба, но он не сдался. Обделенный счастьем просто сесть за письменный стол, он, тем не менее, как писатель сделал очень много, и каждая его книга — это писательский и человеческий подвиг. Но я бы занес в его писательский актив и ненаписанный очерк, о котором я рассказал выше: в определенных условиях отказ подтвердить заведомую ложь требовал большого гражданского мужества...

Прошли годы... Николай Зотович давно ушел из жизни. Редко можно встретить на прилавках книжных магазинов и его книги, хотя недавно «Молодая гвардия» издала его трехтомник. И тем радостнее было мне прочесть не так давно, что в музее Н. З. Бирюкова в Ялте появился новый экспонат: «официальное сообщение из Международного планетарного центра, удостоверяющее, что астероиду № 2477, открытому крымским астрофизиком Н. Черных, присвоено имя планеты Бирюкова». Из других источников я узнал, что «неотъемлемая частица Солнечной системы — малая планета Бирюкова обращается вокруг нашей «звезды жизни» за четыре года».

Если человек продолжает жить в планете, пусть даже малой, значит, он прожил жизнь недаром.

МОЙ ПЕРВЫЙ КРИТИК

В двадцатых годах Государственное издательство выпускало «Школьную библиотеку» — аккуратно изданные книжечки произведений мировой, русской и молодой советской литературы. Если не ошибаюсь, именно в этой серии была издана повесть Юрия Либединского «Неделя», которую мы «прорабатывали» по программе в ШКМ. Что такое ШКМ? Для тех, кто этого не знает, разъясню — школа крестьянской молодежи, с группами, а не классами, с «бригадным методом» обучения, с заменой уроков прополкой гряд или вывозкой дров из лесу...

Так состоялась моя первая встреча с одним из зачинателей нашей прозы. Позднее я увидел и портрет автора «Недели» и «Комиссаров» — длинное худощавое лицо, впалые щеки, копна черных волос. Не думал я тогда, что мне доведется встретиться с «пройденным», «проработанным» в школе автором.

Много лет спустя, уже в Москве, я собрал свои рассказы в тонкую книжечку и отнес в издательство «Советский писатель» на предмет обнародования.

Ответа я ожидал совершенно спокойно. Не звонил, не спрашивал, как решили, просто ждал. Редакция прозы тоже, видимо, состояла из совершенно спокойных, отлично выдержанных людей: долго не давала о себе знать ни письменно, ни устно.

И вдруг — звонок.

Юрий Либединский!

В качестве рецензента он прочел мою рукопись и хочет, если мне интересно, сообщить свое мнение о ней. «Если мне интересно!»

Не каждый рецензент, прочтя рукопись неизвестного сочинителя, захочет позвонить ему. Юрий Николаевич счел это своим долгом, и с его неожиданного для меня звонка и началось наше знакомство. Он подробно рассказал о своем впечатлении от прочитанной рукописи. Часть рассказов ему понравилась. Один, явно преувеличивая его художественные достоинства, отметил особо, назвав его лучшим из всех написанных в то время на тему возвращения с войны. Как ни странно, я принял чрезмерную похвалу как заслуженную или как почти заслуженную: а почему бы и не мне написать такой рассказ?

После телефонных разговоров начались встречи в квартире Юрия Николаевича на Беговой, что у Хорошевского шоссе. Чем мог, опытный литератор старался помочь мне — и в работе над рукописью, и в понимании высокого писательского долга вообще.

Так Юрий Николаевич стал первым из крупных писателей, кто приветил меня в начальную пору моей литературной работы, энергично поддержал, проявил большую заинтересованность в писательской судьбе совершенно незнакомого ему человека. Он же был и первым, кто без пощады, как будто и не он вовсе хвалил меня, жестоко обрушивался за небрежности письма, за промахи и ошибки в работе, которые я, по его мнению, давно уже должен был преодолеть. Повторение оши-

бок, на которые уже указывалось, было для него самым большим грехом молодого писателя, и объяснял он их только непростительной леностью. И мне внимание одного из основоположников советской литературы казалось в то время не только естественным, но и обычным, даже будничным делом. Какой пример писательского мужества, этики и долга показал он, я пойму и оценю по-настоящему позже, когда Юрия Николаевича не будет с нами.

Здесь же, на Беговой, Юрий Николаевич, любивший деловитость, и предложил мне немедленно отнести «великолепный» рассказ о возвращении солдата в один из солидных журналов. А чтобы меня и рассказ хорошо приняли, написал записку главному редактору.

Получив записку, я отправился к редактору. Это было первое и последнее мое хождение с запиской... Я не знал, как встречают главные редакторы неизвестных им авторов, и поэтому сначала все принял за должное: некоторую сдержанность, а то и сухость... Сесть предложено не было. Впрочем, и сам главный редактор почему-то стоял.

Прочтя записку, редактор взял мою рукопись и, даже не полистав, стал что-то писать вверху на уголке первой страницы. Кончив, сказал:

— Передадите товарищу. — Он назвал незнакомую мне фамилию сотрудника редакции.

Я удивился:

— Простите, а вы разве не будете читать?

— Пока никто не читал — не буду.

«Никто»!

Я ушел с обидой не столько за себя, сколько за Юрия Николаевича. И с недоумением: неужели так можно?

Лишь потом я узнал, что именно в это время Юрий Николаевич был не в чести. Ни слова, ни намека не обронил Юрий Николаевич о своем положении, а мне и в голову не могло прийти, что тот, кого мы изучали еще в школе, кто вместе с немногими прокладывал путь советской прозе, сейчас переживает трудные дни... Он был бодр, полон энергии и замыслов, внимателен к людям, которые, как казалось ему, могут что-то сделать в литературе.

Легко помогать, когда у тебя все хорошо, а когда не все хорошо?.. Но помощь эта тем дороже.

И еще один эпизод.

Как-то, кстати сказать, уже будучи в звании главного редактора Главного управления по производству художественных фильмов (стоя никого не принимал и всегда посетителю предлагал сесть!), я приехал в гости к одному из писателей в Переделкино.

Писатель этот жил на той же улице, что и Либединский, и мне пришло в голову заодно побывать и у Юрия Николаевича, поговорить о рекомендации для вступления в Союз писателей.

Недолго думая, я отыскал дачный участок Либединского и прошел в дом. Попал не вовремя! В самой большой комнате сидели гости, и мне бы надо ретироваться под каким-нибудь благовидным предлогом, но я не нашелся, а навстречу уже спешил Юрий Николаевич. Сознавая, что Юрию Николаевичу сейчас не до чужих дел, я тем не менее, чтобы как-то оправдать свое нечаянное вторжение, объяснил, зачем пришел. Юрий Николаевич, как будто он сидел и ждал моего появления, пригласил меня в кабинет.

Если за эталон поведения взять обычную мерку, то Юрий Николаевич скорее всего должен был назначить мне день и час, когда я смог бы прийти за рекомендацией, а вернее всего лишь поговорить о ней. Но Юрий Николаевич, усадив меня, сел за стол, задал несколько вопросов-справок и, не торопясь, обстоятельно обдумывая каждую фразу, написал мне рекомендацию.

Я часто вспоминаю Юрия Николаевича.

Казалось бы, человеку и так трудно, зачем еще лишние хлопоты и заботы о писателе совершенно ему незнакомом и неизвестном. Да и не так молод он и здоровья не богатырского... И постов никаких не занимает, чтобы, так сказать, возиться со мною по долгу службы... Но для Юрия Николаевича все это было просто нормой поведения, его писательским долгом. Он был не только прекрасным писателем, но и честным и мужественным человеком. Таким и остался навсегда в моей памяти.

КАВКАЗ ПРЕДО МНОЮ

В начале моего книжного собирательства судьба свела меня с писателем и кинодраматургом Романом Максимовичем Фатуевым. Жил он тогда, как и многие

москвичи, в одной комнате густо населенной коммунальной квартиры, но зато в самом центре Москвы.

Старинная мебель, картины и книги — книг было больше всего — заполняли комнату. Нужна большая изобретательность, чтобы все это разместить на каких-нибудь двадцати — двадцати пяти квадратных метрах, выгородив при этом уголок для работы писателю, уголок для жены.

Узнав, что я собираю книги Есенина и о Есенине, Роман Максимович тут же подарил мне несколько редких изданий. Рассказал, что были у него и другие библиофильские редкости: «берлинский» Бунин, что-то еще — он уже и сам не помнил, — но тоже раздарил или сменял. К собиранию «вообще» художественной литературы относился насмешливо, даже неодобрительно.

— Не собираю... Зачем все собирать? Надо что-то одно.

Сам Роман Максимович всю жизнь собирал книги о Кавказе. И не только книги — статьи из журналов, газетные заметки.

Плечистый, в очках с толстыми стеклами, Роман Максимович говорил немного запинаясь, неторопливо. Казалось, что он вовсе и не гордится своим собранием, своими уникальными сокровищами, что так свойственно книголюбам, — просто рассказывает, что у него есть.

Правда, иногда показывал какую-нибудь сомнительную редкость и начинал уверять полушутя-полусерьезно, словно испытывая мой вкус и познания в книжном деле:

— Редчайшая книга! Сохранилась всего в нескольких экземплярах... Нигде не найдете...

Стараясь отблагодарить за подарок, я приносил иногда Роману Максимовичу книги и книжонки о Кавказе, случайно и наугад купленные у букинистов: разве можно запомнить, чем обладал и чем не обладал Фатуев?

— Эта есть... Этой нету... Спасибо... — говорил он и листал томик.

Шли годы. Роман Максимович выпустил несколько книг, по его сценариям были поставлены фильмы, что в те годы «малокартинья» было не так-то просто осуществить. Материал все тот же: Кавказ и его люди. Кавказ... Кавказ...

Фатуевы перебрались в кооперативный дом, в от-

дельную квартиру, и наконец-то у Романа Максимовича появился настоящий кабинет.

Две стены — в книгах, вся «кавказиана» на виду.

Но годы принесли и другое: Роман Максимович стал чаще хворать, говорить мне «ты» и завидовать:

— Тебе хорошо... Ты молодой...

Ему казалось, что время властвовало только над ним, не касаясь меня и других. Отсюда это стариковско-деревенское «ты».

— Тебе хорошо...

К тому времени и я уже не был молодым, да и совсем здоровым меня тоже вряд ли можно было назвать.

В доме творчества «Малеевка», куда уезжал работать и отдыхать Роман Максимович, он иногда неделями болел, не вставал с постели. Как обычно, Фатуевы занимали так называемую «гостиную», большую комнату, где с трех сторон — почти сплошь стекло.

Светло, просторно. Перед глазами — деревья и небо.

Я сидел за столом, заваленным рукописями, Роман Максимович лежал и рассказывал о своей жизни.

— У меня, брат, письма Горького есть. В Москве покажу... Я Горькому писал, мне Алексей Максимович отвечал... Не то что некоторые теперь...

Рассказывал, как работал корреспондентом, как снимал Горького, какого труда это стоило, какие громоздкие были аппараты... (Снимок я этот видел, не знаю, опубликован ли он где-нибудь.) Как шестнадцатилетним пареньком вступил в Красную Армию.

В жизни Романа Максимовича было много превратностей и неожиданностей, какие трудно представить и человеку с буйной фантазией.

...С группой бойцов Роман ночью был захвачен в плен. Враги напали врасплох, не помню, кто это были — белые или «зеленые». Допросы, издевательства... Всех расстреляли, но Роман остался в живых: главарь увидел на груди паренька нательный крест, который ему навязала бабушка. «К красным иди, но с крестом не расставайся». Отпустили как случайно попавшего в группу красных. А этот «случайный» восемнадцатилетним был уже назначен помощником коменданта штаба войск ВЧК Кавказского фронта.

Но особенно много рассказывал о работе в Наркомпросе, кажется, во внешкольном отделе, в первые годы

его становления. Встречался с Крупской, Луначарским, другими государственными деятелями... Неповторимые приметы времени и быта, яркие штрихи жизни...

В одном из училищ Москвы «бунт»: учащиеся отказались есть суп с кониной. Кто-то распространил слух, что от конины можно заболеть сапом и умереть. В училище прибыл нарком Луначарский. Узнав, в чем дело, Анатолий Васильевич попросил себе тарелку супа и съел его на глазах собравшихся. А потом повел разговор о положении на фронтах, в стране и все присматривался к учащимся... Завязалась беседа... К концу ее Луначарский высмотрел несколько молодых «бунтовщиков» и предложил им пойти во внешкольный отдел, где работы было невпроворот, а делать ее было некому. И ребята пошли...

Я долго слушал, а потом сказал:

— Напишите об этом книгу. Это же очень интересно: и фронт, и Наркомпрос... И работа корреспондентом... Свежий материал...

— Да, да.. Надо написать... Я тебе могу рассказывать часами...

— Вот и напишите!

— Да, нужно, нужно...

Мы снова встречались в Москве. Роман Максимович продолжал выискивать новые книги о Кавказе, собирать статьи, даже самые крохотные заметки о нем. Собрание литературы о Кавказе росло.

Как-то зашел к нему, принес какие-то книжонки. Роман Максимович неважно себя чувствовал.

— Болею... Тебе хорошо — молодой, здоровый... — снова вздохнул он. — Книжки выходят...

Я уже не возражал, пусть буду молодым и здоровым, пусть — благополучным во всем. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, спросил:

— Книгу пишете?

— Какую?

— Ту самую, о первых годах... Фронт... Наркомпрос...

— Пока нет... Некогда... Вот сборник у меня должен выйти...

— Что за сборник? О чем?

— Как о чем? — удивился Роман Максимович. — О Кавказе...

— А ту книгу? Это же может быть так интересно!

— Да, да, конечно... Буду писать...

А сам спрашивал, не знаю ли я хорошего переплетчика — тот, что переплетает ему сейчас, делает это неважно, — показывал, какие книги о Кавказе удалось ему найти за последнее время!..

Осенью 1966 года Романа Максимовича не стало. Написал ли он книгу, которую обещал? Книги такой нет. Очень и очень жаль.

Но библиотека, собранная Романом Максимовичем Фатуевым, уникальна. По широте охвата предмета изучения, количеству экземпляров книг, дополненных статьями из журналов и вырезками из газет, вторую вряд ли найдешь.

Знакомясь с библиотекой Романа Фатуева, особенно ясно понимаешь, что значит целенаправленное собирательство: здесь все, что можно было разыскать о предмете изучения и любви.

Около пяти тысяч экземпляров...

Среди них — все 46 «Сборников материалов для описания местностей и племен Кавказа», все 10 выпусков «Сборников сведений о кавказских горцах», все выпуски «Записок Терского общества любителей казачьей старины», «Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе»... Сборники в единственном, если можно так сказать, экземпляре: тематические подборки из статей, заметок, сообщений, аккуратно переплетенные в книжечки. Специальная библиотека без таких материалов, выбранных из множества изданий за десятки лет, ничего не стоит или, по крайней мере, теряет часть своей ценности.

О том, как все это добывалось, можно было бы написать большую и увлекательную книгу.

...Шамиль, как известно, был сослан в Калугу. Лишенный имущества, единственно о чем он просил: вернуть богатейшую библиотеку, владельцем которой он был. Но к тому времени ее успели частично растащить, вернули далеко не все книги. Роман Максимович предпринял попытку найти в Калуге хотя бы часть собрания Шамиля. Увы! Найти ничего не удалось. Но труды все же не пропали даром: Роман Максимович обнаружил большую конторскую книгу. Владелец калужской гостиницы записывал в нее рассказы русских офицеров, побывавших у Шамиля. Интереснейший материал!

Без преувеличения уникальная, единственная в своем роде библиотека, результат собирательства всей сознательной жизни Романа Максимовича Фатуева, передана его вдовой в дар одному из научных учреждений. На библиотеку эту ушла вся его жизнь и еще «та» книга, которая могла бы быть написана, но которую он так и не написал, поглощенный одной страстью — Кавказом.

В ЗАБОТАХ И ТРЕВОГЕ

В обширной усадьбе писательского дома творчества «Малеевка», что между Старой и Новой Рузой, есть удивительные места. Без преувеличения их можно назвать сказочными. Глубочайшие, густо, почти непроходимо заросшие овраги... Узенькие, то и дело петляющие речушки с названиями вроде Вертушинка. (Попробуй-ка, придумай!)... Березовые необыкновенные рощи: из одного корня — два, три, четыре, а то и пять стволов... Пестрые полянки, сжатые выступами леса или окруженные им.

Неудивительно, что здесь, «исписав» Абрамцево, Троице-Сергиев, Радонеж, другие места былинной древности и красоты, появился Павел Александрович Радимов, поэт и художник.

Светило ли солнце, было ли пасмурно, Павел Александрович с ящиком красок, подрамником и раскладным стульчиком, в длинном и, видно, тяжелом пальто, неторопливо выходил из подъезда.

Шел на работу.

Все что ни есть вокруг — прекрасно, потому что это создала природа, подчас более разумная, чем мы привыкли считать, все вокруг — объекты, что ли, его внимания и занятия, выбранного много-много лет тому назад.

Исходив окрестности вдоль и поперек, Павел Александрович, конечно, открыл для себя и всем известный здесь уголок — Берендееву чащу, кресло Берендея — многоствольную старую березу, главный ствол которой был давно уже спилен и образовал действительно удобное «царское» сиденье, окруженное другими, более тонкими березками.

На дне оврага, сумрачного и в хорошую погоду, в

чаще, он много писал. Вот так и запечатлен на моей фотографии: сидит на стульчике и всматривается, схватывая — одним чуть прищуренным, другим широко открытым глазом — суть этого уголка, красота которого сейчас будет запечатлена на полотне.

Писал он и в доме: из окон открывались незамысловатые пейзажи, именно потому и захватывающие своей подлинной поэтичностью.

За работой я и спросил Павла Александровича, уж не каждый ли день он пишет по этюду?

— Почти каждый, если не болею... А то и несколько...

За немногословным разговором — я боялся помешать — Павел Александрович почти и окончил этюд: вид из окна в сторону деревни Вертушино.

Каждый день этюд... Это была какая-то жажда: схватить, запечатлеть, словно могла исчезнуть эта чаша, эта речушка, эта башенка монастыря. Работа без устали и отдыха лет этак шестьдесят с гаком... Какая сила движет незаурядным человеком и как он превращает в общем-то обычное в поэзию?

На полотнах и картонах Радимова пейзажи почти такие же, как и в натуре. Но вот это «почти», как и знаменитое «чуть-чуть» кое-что и могут объяснить. Просматривая некоторые работы Павла Александровича, я вдруг заметил, что все церкви, дома, башни чуть наклонены у него влево. Наклонены и деревья и кусты, но наклон их в отличие от строений может быть и естественным. Наверное, что-то и еще чуть сдвинуто по сравнению с натурой в полотнах Павла Александровича, чего-то и еще коснулось это «чуть-чуть», придавая пленительному самому по себе пейзажу добавочную ценность произведения искусства.

Но вот сила... Откуда берется она? Всякие годы были у художника и поэта. Были и такие, когда и для Павла Александровича придумали ярлык — в творчестве Радимова «сказалось влияние кулацких настроений». Это цитата из «Литературной энциклопедии» (1935 г.), печально известной в истории литературы частью своих необъективных оценок. И что-то еще в подобном духе можно прочесть в старых статьях о поэте и художнике. Конечно, не все всегда гладко бывает в творчестве, но не заметить при любых сложностях главное — это уже тенденция.

Главным для Радимова была, как я уже говорил, жажда запечатлеть колыбель нашей жизни — вскормившую и вспоившую нас мать-природу, памятники культуры, воздвигнутые праотцами нашими. И его неутомимость, нетерпеливость и огромная плодотворность — от сознания, от боязни, мне кажется, что все это может пропасть, исчезнуть, сгинуть.

Много позже встречи с Павлом Александровичем, в литературе о Есенине я обратил внимание на известные многим и многим слова, не вызвавшие у меня до этого тех ассоциаций, которые вдруг возникли теперь. Это были рассуждения о мотиве страха перед машинизацией деревни, о тоске по исчезновению чего-то исконного в укладе деревенской, а может быть, и не только деревенской, жизни, рассуждения о щемящей жалости и любви поэта ко всему живому на земле, к ее природе.

По-разному относились к подобным мотивам творчества Есенина, но не стоит утомлять читателя пересказом критических выступлений.

Но вот прошли десятилетия, и многие сейчас не в беспричинном опасении за состояние лесов, рек, озер, морей, самого воздуха, за судьбу рыбы, птиц, диких зверей — всех тех, кто для Есенина были «меньшими братьями». Сколько статей пишется сейчас об этом, сколько людей не могут спать спокойно, видя, как иной раз человек не может хозяйствовать на земле разумно, в согласии с наукой и самой природой. Сколько статей мы пишем сейчас о необходимости защищать природу и памятники культуры. И продолжаем их губить!

Павел Александрович — земляк Есенина, его старший друг и в творчестве своем, пусть не таком звонком, по духу своему близок великому русскому поэту вот этой своей озабоченностью, если не сказать тревогой.

Мать отличается от мачехи, между прочим, еще и тем, что, испытывая чувство радости и гордости за свое дитя, живет в постоянном страхе с первых минут его рождения и до своего конца.

Павел Александрович жил в заботах и тревоге за родную природу и за то, что создано на нашей земле руками человека. Что же тут неестественного? А откуда он брал силы? В любви к творчеству и к Родине.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Человек из сравнительно далекой для моего поколения истории нашей славной литературы и культуры. Вроде бы даже из времен легендарных...

Гром Октябрьской революции, расколовшей привычное окружение на друзей и врагов... Встреча с А. В. Луначарским... Работа в Зимнем дворце и Наркомпросе... Дружба с Максимом Горьким, Александром Блоком, Всеволодом Мейерхольдом, Сергеем Есениным, многими другими... Совместные усилия по созданию новой культуры... Славное содружество!.. И, конечно, стихи, стихи...

Рюрик Александрович Ивнев...

Я читал его книги, упоминания о нем находил в многочисленных статьях о литературе, воспоминаниях о Сергее Есенине, Анатолии Васильевиче Луначарском, других писателях и деятелях культуры.

И вот он передо мной.

Это было в Переделкине, когда еще не существовала «шикарная» Пицунда, когда еще священный Коктебель не был обезображен неразумным человеческим усердием, как бы поставившим своей целью разобрать Кара-Даг на сувениры. Переделкино издавна считалось самым любимым местом труда и отдыха многих писателей.

Первое, что осознавалось умом и сердцем при встречах с Рюриком Ивневым, — это порода, благожелательность, благородство, не только, как я понимаю, приобретенные постоянной работой души, но и благополучно полученные в наследство. Мы познакомились, ведь знакомятся в Переделкине быстро и, можно сказать, почти обязательно: в столовой, на веранде, где непременно ведется какой-нибудь оживленный разговор, в фойе, где тоже не обходится без споров или живой передачи только что полученной новости. Короче: мы не могли не познакомиться. А вот уже прогулки по аллеям парка или по «Аллее классиков» — это дело другое. Мне повезло: с Рюриком Александровичем мы часто гуляли вместе. Наши беседы касались и дел нынешних, но больше дел прошедших. Быть может, благодаря моим стараниям. Меня пугала тревожная мысль: человек с богатейший биографией, который встречался не с одним десятком замечательных людей, был свидетелем,

а то и участником исторических событий, не ограничится ли он воспоминаниями в книге «У подножья Мтацминды» и несколькими уже известными статьями? Мне казалось, что Рюрик Александрович мог — и, главное, должен был! — рассказать о несравнимо большем.

Но славное прошлое — близкое и очень далекое — было дорого не мне одному.

Однажды, когда я сидел и работал в своей комнатенке-келье, в дверь постучали, и вошел Рюрик Александрович. Был он непривычно оживлен и даже возбужден.

— Книжка! Смотрите, какая книжка! Долго не могла выйти!

Это была небольшая книжица Б. Бродского и В. Калугина «... а теперь музей».

Даже не присев, Рюрик Александрович стал показывать поразившие его абзацы из очерка о создании в бывшем Спасо-Андрониковском монастыре музея имени Рублева.

Рюрик Александрович был восхищен мужеством и подвижничеством инициатора восстановления Давида Ильича Арсенишвили, который, не без оснований опасаясь, что территорию бывшего монастыря займут бойкие хозяйственники под какой-нибудь гараж, «...не покидал территории музея ни днем, ни ночью и даже спал одно время в притворе собора».

— А когда это было? Может, зимой или промозглой осенью? — спрашивал сам себя Рюрик Александрович. И показывал другие абзацы:

«Борьба за музей длилась с 1949 до 1960 год, когда 21 сентября он был открыт для посетителей».

И еще:

«Музей сразу после открытия стал центром спасения памятников древнерусского искусства. Началась борьба с невежеством и равнодушием, приносившая и радость побед и горечь поражений».

К моменту выхода книжечки в свет Давида Ильича Арсенишвили уже не было в живых: дорого ему стоило создание музея...

Только теперь присев, Рюрик Александрович стал надписывать книжку.

Все было так неожиданно и быстро, что я даже не осведомился, есть ли у Рюрика Александровича второй экземпляр.

Прочитав очерк о восстановлении Спасо-Андроников-

ского монастыря, я еще острее почувствовал, что так взволновало, даже взбудоражило обычно внешне спокойного, невозмутимого Рюрика Александровича — подвижничество во имя великой цели. Таким я видел его впервые. Ближе познакомившись с Рюриком Александровичем, я понял: когда дело касалось отстаивания своих взглядов, он делался непримиримым. Я невольно представлял себе, каким он мог быть в кружке имажинистов, когда обсуждались стихи товарищей по «ордену». Обижайся не обижайся, а ты услышишь правду, как бы она ни была горька.

Приезжая в Переделкино, я обычно брал с собой фото- и кинокамеры. Я снял Корнея Чуковского, Леонида Утесова, Аркадия Райкина, Рувима Фраермана, многих других. Конечно, я не мог не запечатлеть и Рюрика Александровича. Приезжавшие к нему в гости молодые друзья просили у меня на минутку камеру и снимали Рюрика Александровича и его окружение на свой манер: бедная «АК-8» металась из стороны в сторону, как мечется камера у иных современных телевизионных операторов.

После встреч в Переделкине я стал бывать у Рюрика Александровича в его квартире на улице Черняховского, где, да простит мне ушедший в мир иной хозяин, нельзя было сесть в живописное старинное кресло, не удостоверившись предварительно, пригодно ли оно для этого. На стене бросалась в глаза фотография Рюрика Александровича в роли бесславного Александра Керенского. Кадр из фильма.

Сколько раз ни приходил, гостиная была полна молодых поэтов, раз застал сотрудника музея Маяковского. Рюрик Александрович жил один, и все хлопоты по устройству скромного угощения брали на себя гости. За чаем читали стихи, спорили, обсуждали, говорили о литературе. А ведь Рюрик Александрович не был ни руководителем литобъединения, ни тем более главным редактором «толстого» журнала, не был даже тенью начальства, к знакомству с которыми стремятся некоторые начинающие, у кого больше силы в локтях и плечах, чем в сочинениях.

Что-то притягивало молодых к старому поэту. Это «что-то», как я постараюсь доказать ниже, — прозорливость в оценке личности и произведений... Проницательность... И еще доброта...

Как-то по просьбе Рюрика Александровича я пока-

зал ему свои киносъемки из переделкинской жизни и, конечно, эпизоды с самим поэтом. Последние, в большей части по вине моих «помощников», не могли оставить глубокого впечатления. Тем не менее Рюрик Александрович похвалил их и, выбрав подходящий момент, увел меня в другую комнату, где вручил журнал «Сибирские огни» со своими новеллами, предварительно сделав дарственную надпись, в ней мои съемки оценивались как «прекрасные»...

Вслед за этим Рюрик Александрович надписал на своей книжечке «Четыре выстрела в Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича», вышедшей в издательстве «Имажинисты»: «<...> Сергею Федоровичу Антонову через 52 года после выхода этой брошюры — с неизменной любовью. Рюрик Ивнев. 8 февраля, 1973 год, Москва».

Год выпуска этой книжечки ни на титуле, ни на обложке не обозначен. Нет в ней и выходных данных. Лишнее! Позднее я имел возможность убедиться, что, определяя год выпуска «Четырех выстрелов», Рюрик Александрович не ошибся: в книговедческой литературе я не раз встречал дату издания этой книжечки — 1921 год. У Рюрика Александровича и в преклонных годах была завидная память.

Мы сейчас довольно свободно обращаемся с понятием «библиографическая редкость». Чуть что — и уже «редкость»! «Четыре выстрела» — истинная редкость. Вы найдете ее не в каждом книгохранилище, не у каждого даже самого упорного собирателя. А многие и многие книжники и понятия о ней не имеют. Тираж был мизерным, и напечатанную на плохонькой бумаге, в тоненькой обложке книжечку не пощадило бурное время.

Как бы несуществующая брошюрка эта может многое дать для понимания личности и мира Рюрика Александровича, она поможет понять и по-настоящему оценить его ясновидение, дар сродни — не побоюсь громкого слова — пророческому. Но для этого, прежде чем рассказать о книжечке, мне придется сделать отступление.

Когда мы говорим о том, что подлинно научное изучение творчества и биографии Сергея Есенина началось сравнительно недавно, что долгие годы личность поэта, его облик были скрыты туманом не всегда правдивых воспоминаний современников, а то и просто кле-

веты, что литературное наследие его оценивалось не по той шкале, мы должны помнить, что это участь не одного Есенина. Как говорится, не он первый...

Действительно, когда читаешь воспоминания о Лермонтове, понимаешь, что далеко не для всех культурных, образованных современников он был тем, кем является для нас. Они, эти люди, имели счастье видеть, слышать, разговаривать с Лермонтовым, они были вблизи его. И вот вдруг читаешь в мемуарах такое, что может удивить и даже оскорбить. Лермонтов в глазах некоторых его современников — всего лишь волокита, дерзкий и вспыльчивый поручик, задира, коварный и беспощадный искуситель женских сердец и прочее в том же духе.

Пушкин для некоторых, знавших его, — всего лишь светский человек, добрый приятель, повеса, веселый собутыльник, рассыпавший стихи по альбомам и эпиграммы в гостиных столицы.

Даже близкие к Александру Сергеевичу люди не всегда были справедливы в оценках его как человека и поэта. Вяземский пишет: «Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь, и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения!»

Дико читать, порою глазам не веришь, но и Чехов — увы! — при жизни был далеко не для всех правильно понятым и оцененным явлением.

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.

Для меня смысл этих есенинских строк в том, что не каждому современнику великого человека дано увидеть в нем это величие.

Справедливо считается, что и сам Есенин был оценен по достоинству только в наши дни. Однако еще при жизни Есенина и вскоре после его гибели был обнародован ряд работ, которые делают честь их авторам. Некоторые современники его все же — пусть не во всем — сумели, стоя «лицом к лицу» с поэтом, понять главное в его творчестве, отделив суть от наносного и случайного.

В 1921 году наряду с Есениным гремели имена его собратьев по «ордену» — Мариенгофа, Шершеневича и других, еще не было того временно́го отдаления, которое позволило бы каждому определить, кто чего стоит. Но в брошюре Рюрика Ивнева, одного из самых близких и подлинных друзей Сергея Есенина, при всей ее «прикрепленности» к далеким уже теперь годам с их атмосферой, характерной для узкого и казавшегося однородным кружка поэтов, при неизбежной дани времени можно найти удивительные строки, будто они написаны не более полусотни лет назад, а вот сейчас, в наши дни, бесстрастным исследователем, поглотившим горы книг и статей о Есенине.

Разделу «Выстрел первый. В Есенина» предпослано несколько эпиграфов. Один из них — две строки из Хомякова:

Перед твоим державным блеском
Народы робко клонят взор.

Можно как угодно относиться к Алексею Степановичу Хомякову, но выбор Ивневым эпиграфа оправдан судом времени: всенародная любовь к поэзии Есенина и преклонение перед его творческим подвигом — свершившийся факт.

Из книжечки, ставшей редкостью, закономерно привести еще несколько цитат. Вот начало, которое мне кажется удивительным по своей проницательности:

«Я часто думаю о тебе. До чего ты связан с Россией. Кровью, на жизнь и смерть.

У меня вырвалось в стихах, посвященных тебе:

Кто не прочтет иероглиф России,
Тот не поймет есенинских стихов.

Ты это знаешь. В этом твое счастье и в этом твое несчастие».

Сейчас, спустя более полувека со дня гибели Есенина, все очевиднее становится мысль: для того, чтобы понять Есенина, нужно понять Россию. И наоборот — Есенин объясняет многое в понятиях «Россия» и «революция».

Охарактеризовав ближайшее окружение Есенина, Рюрик Иванев снова подчеркивает: «Один ты кровью связан с Россией, и за это я люблю тебя особенно».

Коротко и четко определено главное в Есенине-человеке и Есенине-поэте. А сколько потом было нагоро-

жено вокруг его имени! Какой мощный и мутный поток критических статей и воспоминаний захлестывал творчество великого поэта и его личность! Вспомним хотя бы серию книжонок А. Крученых. Нет смысла пересказывать их содержание, ограничусь перечислением названий, более чем красноречиво передающих дух этих «сочинений»: «Хулиган Есенин», «Есенин и Москва кабацкая», «Лики Есенина от херувима до хулигана», «Гибель Есенина», «Черная тайна Есенина» — и тому подобное.

Рюрик Ивнев, хорошо зная слабые стороны поэта, не щадит его. О недостатках написано так же откровенно, как и о достоинствах. Но заканчивается раздел, посвященный Есенину, вполне определенно:

«Я опускаю оружие.
Выстрел отзвучал.
Дым рассеялся.

А ты стоишь передо мной крепкий, улыбающийся, кудрявый, как будущая Россия, загадочная Р.С.Ф.С.Р., полная огня и фосфора».

Не хочу никого обижать из современных исследователей творчества Есенина, но то, что некоторые из них сделали в 60—70-е годы и что ставится им в заслугу нашими литературоведами, кратко, но емко было сделано Рюриком Ивневым еще в 1921 году: Есенин и его творчество были оценены единственно правильно — Родина, революция, поэт неотделимы друг от друга.

Необходимо также по достоинству оценить проницательность и бескомпромиссность Рюрика Ивнева в оценке творчества и личности одного из ближайших друзей самого Ивнева и Есенина — Вадима Шершеневича. (Кстати, это еще раз подчеркивает провидение, верность истине и в оценке Есенина.)

Совместные выступления, совместные декларации и заявления, наконец, дружеские застолья — сколько их было! — и, однако, когда речь заходит о святая святых Рюрика Ивнева, о поэзии, он нелицеприятен и тверд в характеристике поэта, в своем мнении о товарище по «ордену».

Перебирая в памяти многочисленную литературу, посвященную Есенину и его окружению, я не могу припомнить слов, с такой беспощадностью обнажающих подлинную сущность Шершеневича и его творчества, какие бросил ему еще в 1921 году Рюрик Ивнев, многие

годы сталкивавшийся с Шершеневичем, если повторить ту же формулу, «лицом к лицу».

«В 1912 году, — пишет он в главе, посвященной Шершеневичу, — когда мы встретились впервые, ты мне показался настоящим человеком, настоящим поэтом. С годами туман рассеялся, и я увидел, что ты не существуешь. Нет человека. Есть «кровяная машина», «человек-кукла».

И далее совершенно беспощадное, хотя, казалось бы, куда уж дальше:

«Шершеневич, Шершеневич, — это когда аудитория, смешки, остроты, шуточки, цветы и целый выводок девиц.

Шершеневич, Шершеневич, — это труп, желающий гальванизироваться.

И никто не скажет: — это человек, который большую внутреннюю боль (несомненно имевшуюся в нем) забросал мусором острот, ужимок, который, чтобы не чувствовать боли, превратил себя в предмет, — окаменел».

Жалко было не использовать редкую память Рюрика Ивнева в прояснении темных мест в биографии и личности Есенина, которых, как известно, еще немало. И вот, в очередной раз прогуливаясь по аллеям Переделкина, я спросил у Рюрика Александровича о том, что он думает о самоубийстве Есенина. Вопрос может показаться наивным, а уж тривиальным наверняка. Неторым нашим литературоведам ответ давным-давно и хорошо известен. Действительно — тяжелое болезненное состояние, внутренний надлом еще задолго до катастрофы плюс эти как нарочно собранные воедино «мелочи»: циничный отзыв Клюева о последних стихотворениях «Сереженьки»; Есенин ночью, чтобы не оставаться одному, в отчаянии и страхе стучит в дверь к своим друзьям, а ему не открывают: мол, опять пьяный, возись с ним...

Нет, гибель — не случайность, как не случайность написанное кровью стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...». Не случайность в том смысле, что трагедия рано или поздно произошла бы.

И все-таки, все-таки...

В ответ на мой вопрос Рюрик Александрович сказал, что, на его взгляд, Есенин хотел испытать самого себя, верил и не верил, что погибнет, и если останется в

живых, то станут ему доступными и переживания самоубийцы — это в его, Есенина, характере.

И в самом деле: он не сделал из веревки петли, а лишь обмотал ее вокруг тонкой шеи. Одной рукой держался за трубу парового отопления. Зачем? Вешаться так вешаться! Или в последние секунды, все испытав или раздумав, схватился за горячую трубу как за спасение? Но, увы, поздно.

Позже совершенно неожиданно для себя я нашел подтверждение версии Рюрика Александровича у Бориса Пастернака. В книге «Воздушные пути» он, между прочим, пишет: «Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая — как знать, может быть, это еще не конец и, не ровен час, бабушка еще надвое гадала».

Да и Евгений Наумов в своем капитальном труде о Есенине не случайно обронил фразу: «Одной рукой он (Есенин. — *С. А.*) держался за трубу, — может быть, в последнее мгновение у него еще мелькнула мысль о жизни. Но было уже поздно».

Для меня все это — подтверждение мнения человека, который знал Сергея Александровича намного лучше других.

«Лицом к лицу лица не увидать...». Но некоторым — их немного — оказывается, дано и лицо увидеть, и досконально узнать душу друга.

На мою просьбу изложить историю издания «Четырех выстрелов...» Рюрик Александрович в одном из писем ответил: «...Насчет «Четырех выстрелов» (издана в 1921 г.) мой будущий рассказ Вам в сентябре (е. б. ж.* Л. Н. Толстого) — в письме не поместится...». К сожалению, уж не помню, по какой причине, такой встречи не состоялось, и мы историю издания «Четырех выстрелов...», несомненно, сложную, несомненно, вызвавшую обострение борьбы в группе имажинистов, казавшейся поверхностному современнику группой единомышленников, может быть, никогда и не узнаем. Уже не от кого!

1975 год подарил старому поэту радостное событие, или, вернее, он подарил своим поклонникам радость общения с подлинной поэзией: 18 февраля в ЦДЛ была проведена, как сказано в календаре Дома, «поэтическая встреча» с Рюриком Ивневым, который читал сти-

---

* Если буду жив.

хи и воспоминания. И на этот раз Рюрик Александрович был внимателен и добр ко мне, озаботившись присылкой специального приглашения.

Вечер был проведен вовремя. Если не ошибаюсь, с 1976 года Рюрик Александрович начал хворать, чего за ним, насколько помню, раньше не водилось: всегда подтянутый, бодрый, не мыслящий жизни без литературного труда и общения с молодыми поэтами. 85-летие Рюрика Ивнева в марте 1976 года было отмечено «Литературной газетой», «Литературной Россией», но «поэтической встречи» или официального чествования, как мне представляется, уже не могло состояться.

Мы встречались с Рюриком Александровичем все реже и реже, чему в немалой степени способствовали и мои болезни. Но письмами обменивались.

Болезнь, известно всем, — испытание. Чем он жил — преклонного возраста, одинокий, но не покинутый молодыми друзьями? До какой-то степени на этот вопрос может ответить письмо, публикуемое ниже. В нем Рюрик Александрович в какой-то мере раскрывается и как писатель и как человек. С оговоркой, что он относился ко мне незаслуженно хорошо, я все-таки решаюсь предать письмо гласности.

«<...> Сергей Федорович!

Поздравляю Вас с Новым годом. Да принесет он Вам самое лучшее и светлое из своего запаса добра.

Я всегда с радостью открываю Ваши письма. А когда одно из них появляется вместе с другими, то я открываю его первым.

Но мне грустно, что я уже не могу, как в былые годы, в любой момент приехать к моим друзьям, в первую очередь таким, как Вы...

<...> водитель мой пока не может в «любую минутя» привезти меня к Вам, да и Вы, вероятно, не можете принять меня в «любую минуту».

Но я надеюсь, что в ближайшем будущем осуществим давнее наше желание вернуть то время, когда мы так хорошо беседовали в Переделкине.

Перечитываю мемуары (нрзб. — *С. А.*). Как много интересного в этих когда-то нашумевших томах и как все это прочно забыто.

В сущности говоря, мемуары литераторов меня больше всего интересовали и интересуют. А может быть, я ошибаюсь и полюбил их лишь «на закате дней».

Восхищаться стихами, как в былое время, я не мо-

гу, так как их нет. Остается только перечитывать Тютчева, Анненского, Блока и многих других, которых уже нет в живых.

Но я увлекся «разговором» и боюсь, что это Вас утомит, вдобавок к моим «каракулям». Не могу отвыкнуть писать мелкими буквами.

Обнимаю Вас.
Любящий Вас.
Рюрик Ивнев.

Ночь на 6 января 1976 г.
Москва».

Уже тяжело больной, писал даже из больницы.

Не решаясь публиковать иные надписи на книгах — так много в них добрых слов, адресованных мне, человеку, который ничего особенного для него не сделал, разве что старался понять его, — это письмо я не могу не привести.

Оно последнее.

На четвертушке серой бумаги, положенной, видимо, на одеяло, карандашом неразборчиво (да и как могло быть иначе?) написано:

«<...> Сергей Федорович!

Большое спасибо за поздравление с Новым годом. Я тоже от всей души хочу, чтобы 1978 год принес Вам здоровье и творческие взлеты.

Я хвораю, но есть (надежда? — *С.А.*), что станет лучше.

Обнимаю Вас.

P. S. Е. б. ж. (вспомним привычку Л. Толстого писать: если буду жив). Так вот, е. б. ж., то в конце февраля пришлю Вам новую книгу «Часы и голоса». В ней стихи и мемуары.

Еще раз обнимаю Вас.
Ваш Рюрик Ивнев».

Кто-то (другой почерк), видимо, по его просьбе, проставил дату: «7.I.1978».

Однажды Рюрик Александрович, не помню по какому поводу, подарил мне семейную фотографию. После обращения, которое я опускаю, идет приписка: «От самого маленького на фотографии. Рюрик Ивнев».

На ней изображены трое: молодая женщина, держащая на руках младенца, и мальчик лет пяти-семи, прижавшийся к матери.

Глядя на эту фотографию, я невольно думаю, ка-

кой славный путь прошел «самый маленький». Заявив о себе как о незаурядном поэте в самом начале века, Рюрик Александрович до последних дней не оставлял пера, в меру сил исполнял свой гражданский долг, что мы теперь определяем газетной фразой «участвовал в общественной жизни», думал о других. Он, пожалуй, одним из первых поднял вопрос о необходимости создания в Москве музея Сергея Есенина и не только ратовал за создание Дома поэта, но и великодушно предложил подарить ему экспонаты. К сожалению, музея Сергея Есенина в Москве пока нет.

Нам предстоит сообща закончить начатое Рюриком Ивневым дело.

Колыбель моя...



ДОБРОТА

Не первый раз я на своей родине, в селе Мокром Калужской области. И каждый раз, уезжая, уношу с собой все более глубокие впечатления.

Вот и в этот приезд я узнал, что мой товарищ детства, ныне преподаватель истории Михаил Иванович Кабанов, раскопал в архивах интересные материалы.

В нашей округе несколько деревень принадлежали Ивану Сергеевичу Тургеневу. В детстве я слыхал об этом от отца, почитателя таланта писателя и книголюба. Теперь же молва подтверждалась документами, найденными Михаилом Ивановичем.

Действительно, Березовка, Красниково, Грибовка, Милеево и другие деревни перешли к Тургеневу по наследству. Автор антикрепостнических «Записок охотника», ненавистник рабства, становится владельцем крепостных...

Но у Тургенева слово не разошлось с делом. Скромно и трезво написал он о своем решении: «Другой, может быть, на моем месте сделал бы больше и скорее, но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она есть. Хвастаться ею нечего, но и бесчестия, я полагаю, она принести не может: я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступал пятую часть и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму».

В письме И. С. Аксакову из Спасского 22 октября 1859 года Тургенев указывал, что его решение содействовать освобождению крестьян осуществлял его дядя Николай Николаевич Тургенев, отставной военный, «...которому **новые порядки** очень не по нутру, но который понял, что **старые порядки** вернуться не могут».

В 1862 году Тургенев подарил барский дом в Грибовке крестьянам для школы...

Тогда меня с особой силой потянуло в Грибовку, да и от родного моего села она всего в двух верстах. По дороге мой друг детства Валентин Васильевич Полуянов, директор школы, везший меня на мотоцикле, предупреждал:

— Надо во что бы то ни стало два дома обойти стороной: затащат в гости, до вечера просидим, ничего не успеешь посмотреть...

Слова эти были сказаны на подступах к деревне, а через несколько минут мы были остановлены дедом с окладистой бородой, какую испокон веков носили в здешних российских местах. Этот дед с бородой — совсем не из тех двух «опасных» домов — не то что пригласил в гости, а просто немедленно предложил зайти к нему, очень добро, радушно, но тем не менее самым категорическим образом.

Я стал возражать: надо посмотреть деревню, поснимать, походить, но дед не стал слушать никчемные, на его взгляд, отговорки и на правах старшего прервал:

— И не говори! Не дело это! Не дело! И не говори!

Мы пообещали заглянуть через полчасика. Однако дед больше всего боялся, что пообещают, а потом успокоятся и не заглянут.

— Заходите! Не дело это — потом! Не дело!

Я посмотрел на Валентина Васильевича, он на меня, и мы сдались, испросив мне десять минут на осмотр деревни.

Я зашагал по Грибовке, Валентин Васильевич повел свой мотоцикл к дому Онуфрия Дмитриевича, как звали нашего доброго хозяина. По улице проложена траншея, желтый песок и оранжевая глина навалены по обе ее стороны. И на кирчиных основаниях уже установлены водоразборные колонки. Водопровод в Грибовке! А вот — вся в зелени — тургеневская школа...

Пока я ходил, смотрел, Валентин Васильевич протарахтел на мотоцикле в другой край деревни, а вскоре нашел меня.

— Пойдем. Ждут...

— Куда ты ездил?

Выяснилось, что старуха Онуфрия Дмитриевича, пока суд да дело, решила использовать мотоцикл для своих надобностей: привезти из лавки мешок сахару, пятьдесят килограммов. Купили мешок по соображениям практического ума: во-первых, каждый раз ходить не надо, во-вторых, не обвесят. Мешок-то целый.

Участник гражданской и Великой Отечественной войн, Онуфрий Дмитриевич получает пенсию, ловит рыбу, имеет превосходный сад. Мы закусили, попили чай, поговорили, и на прощание хозяин сказал:

— Спасибо, что не обидели, зашли в гости.

А хозяйка:

— Заходите и днем и ночью... Спасибо!

Школа стоит наискосок от усадьбы стариков, и я не могу поверить, что в доброте, щедрости и радушии наших грибовских хозяев нет ни капли от доброты и благодарного поступка Ивана Сергеевича или по крайней мере нет родства между этими явлениями. Мне хочется связать их, протянув ниточку от одного к другому. Прервется эта нить преемственности — прервется жизнь.

Наверное, где-то вот здесь, возле школы, в давно прошедшие времена собирались крестьяне, чтобы поблагодарить писателя за пожертвование им дома. Волостной писарь громким голосом прочел им текст адреса, а потом те, кто умел подписывать свою фамилию или хотя бы ставить крест, пошли, видимо, в дом и скрепили документ «подписом руки».

Так, наверное, было и в Березовке, и в Красникове, и в других деревнях Тургенева этого Жиздринского уезда.

Адрес, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы быть приведенным полностью:

«1862 год. Марта 18 дня.

Мы, нижеподписавшиеся Калужской губернии Жиздринского уезда Грибовской волости сельца Грибовки и деревень Милеева, Новиков, Студенца, Березовки, Красникова и Белого Холма помещика коллежского секретаря Ивана Сергеевича Тургенева временно обязанные крестьяне, выслушав прочитанное нам в присутствии нашего волостного старшины через волостного писаря заявление помещика нашего доверителя Николая Николаевича Тургенева, что помещик наш Иван Сергеевич Тургенев пожертвовал нам безвозмездно состоящий в сельце Грибовке господский его дом для помещения в нем сельской школы, и приняв дар к истинному просвещению и точному познанию наших прав и наших обязанностей, — благодетеля нашего, истинного попечителя о благе крестьян Ивана Сергеевича Тургенева, давно уже заслужившего наше полное доверие, чувствительнейше благодарим со всею откровенностью за его милости, сохраним всегдашнюю память и да будет в благодарствии его наше чистосердечное теплое моление творцу. Изливая все чувства истинной и совершенной признательности, просим сию благодарность нашу

сообщить благодетельнейшему нашему владельцу Ивану Сергеевичу Тургеневу по жительству его Орловской губернии Мценского уезда в селе Новоспасском, в чем и подписуемся».

Адрес скреплен 36 подписями крестьян. Прадеды кого-то из нынешних грибовцев, которые смотрят телевизор, имеют водопровод, ездят на мотоциклах, тоже оставили свои каракули или крест на бумаге.

Тургеневский дом, где была одна из самых первых школ в округе, значение которой трудно переоценить, сгорел, но еще до войны — на том же самом месте — поставили новую школу, которая существует и теперь. И я думаю, когда придет в ветхость и эта солидная, с большими окнами и высокими потолками постройка, поставят другую — с просторными классами, кинозалом, как неподалеку, в Бетлице, и, конечно же, на прежнем месте. Мы уйдем далеко вперед, и тем быстрее, чем больше будем помнить, с чего и как начинали...

Гостевание у Онуфрия Дмитриевича, в окна дома которого так и лезли ветви яблонь, отягощенные большими желтыми плодами, оставило глубокий след в моем умиротворенном и полном любви к этим людям сердце...

Вот тут, в деревнях с простыми и прекрасными названиями — Грибовка, Березовка, Красниково, Милеево, небольших селениях, то забившихся в леса, то выскочивших на невысокий песчаный берег какой-нибудь Хатожки, — и встречаешься с первыми открытыми в литературе Иваном Тургеневым русскими национальными типами.

Касьяны и Герасимы, Ермолаи и Хори, Калинычи и Яковы Турки... Их души широко распахнуты красоте и добру, правде и свету.

Наверняка все это откроется и не в тургеневских деревнях, но в тургеневских открывается ярче и воспринимается острее.

— Спасибо, что зашли!

— ...и днем и ночью! — все еще слышим мы.

КНИГИ ИЗ ДЕТСТВА

Не каждый может похвастаться, что в десять лет у него был собственный экслибрис. Я получил его в подарок от отца: печатку с изображением кленового лист-

ка и надписью по нему: «Из библиотеки С. Ф. Антонова». Не «Сережи», что более подходило бы по возрасту, а именно «С. Ф.»! С крестьянской бережливостью отец заказал мне ее на всю жизнь! К сожалению, она не сохранилась, и лишь на двух или трех книжках, случайно уцелевших, остался ее оттиск.

Читать я начал рано и читал много, к этому располагала вся атмосфера дома. Помню: огромная десятилинейная керосиновая лампа — самый сильный по тем временам источник света в Мокром — на столе. Вечером за ним собиралась вся семья во главе с дедушкой Григорием Ивановичем, читали рассказы и стихи из приложения к «Ниве», Чехова, Тургенева. То ли из Москвы, то ли из Брянска отец привез волшебный фонарь, показывал «туманные картины»...

И теперь в своей библиотеке я бережно храню несколько детских книжек. Их было бы гораздо больше, если бы не война... Двум книжечкам, прочитанным мною в детстве, я многим обязан и всегда вспоминаю о них с неизменной благодарностью и любовью.

Одна из них — «Кино в коробке» Бориса Житкова — выпущена Государственным издательством в 1927 году для детей среднего и старшего возраста. Книжечка эта, кстати, отлично изданная, не только приоткрывала дверь в чудесный мир кино, но — самое главное! — позволяла самому стать немножко волшебником. Наученный Борисом Житковым, я сам, своими руками, смастерил незатейливый аппарат (потребовались кнопки, картон, оберточная бумага) и смотрел сотворенное мною чудо. Застывшие картинки стали живыми, двигались. Двигались почти так же, как на большом экране в Народном доме в нашем селе, куда время от времени приезжала кинопередвижка с тяжеленной динамо-машиной. Привинтив машину к скамье, к ней крепили массивную медную ручку, и ребятишки, зарабатывая право бесплатно смотреть кино, сменяя друг друга, крутили ее. Крутил эту ручку и я.

Вспыхивал пронзительный яркий белый свет, слышался ни с чем не сравнимый треск киноаппарата, и на экране возникал неведомый нам, такой далекий от нашего небольшого села мир. И мир этот был живой, движущийся...

И вот теперь нечто подобное я мог делать сам. Кузнец бил по наковальне да так, что летели искры, добрый молодец лихо пускался в пляс, двое мужчин —

толстый и тонкий, — повстречав друг друга, снимали шляпы и раскланивались, девочка скакала через обруч... Полоски бумаги с рисунками были приложены к книжечке, они как бы служили кинолентой. Собственно говоря, именно по этому принципу до сих пор создаются мультипликационные кинофильмы, «мультики». Теперь об этом знает каждый школьник, но для меня и моих сверстников из родного села это было тогда потрясением. И, может быть, эта книжка зародила во мне интерес к кинематографу, любовь к которому я сохранил на всю жизнь.

Другая книжечка по сравнению с первой была довольно солидной. Это было приложение к журналу «Вокруг света». Называлась она «Кинематограф (Живая фотография). Его происхождение, устройство, современное и будущее общественное и научное значение».

В библиотеке моих родителей было много книг — по истории, астрономии, садоводству, географии, много художественной литературы, — книг доступных и совсем не доступных мне по возрасту. «Кинематограф», рассчитанный, безусловно, на людей взрослых, стал тем не менее самой моей любимой книгой, я прочел ее как занимательную повесть и, кажется, все понял, хотя в ней шел серьезный разговор о настоящем и будущем кино в разных аспектах. Больше всего, конечно, меня захватил рассказ о том, как снимают всякие чудеса, трюки. Чтобы как-то отметить, что эта книга у меня самая любимая, я, помнится, не нашел ничего лучшего, как перевести на ее титульную страницу красочное изображение зàмка в горах.

Книжечки эти, как и вся библиотека, вместе с нашим домом сгорела в годы войны. Я был далеко от родных мест и не мог прийти им на помощь. Иногда я думаю, а вдруг они каким-то чудом уцелели и сейчас, в наш век звукового, цветного, стереоскопического, широкоформатного кинематографа, вызывают у кого-нибудь всего лишь снисходительную улыбку... Но ведь ценность книги состоит в том, что она дала человеку в свое время, к чему подтолкнула, чему способствовала...

Прошли годы. Я получил высшее кинематографическое образование, двадцать лет проработал в кино, с экрана прозвучало и мое слово. Я слушал Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Ромма, читал толстые серьезные книги по кино, но мудрость тех двух кни-

жечек, впечатление, которое они на меня произвели, даже — я не побоюсь сказать это — роль, которую они сыграли в моей судьбе, трудно переоценить.

Не так давно совсем случайно мне удалось приобрести прекрасно сохранившийся экземпляр книжечки Бориса Житкова «Кино в коробке». Я обрадовался ей, как частичке детства, каким-то чудом вдруг вернувшегося ко мне. «Кинематограф» мне пока найти не удалось. Но я не теряю надежды когда-нибудь повстречать и эту книжку. Пока же мне подарили фотографию ее обложки, и я ее бережно храню.

Книги из детства... Пусть они всегда согревают нас своим теплом, напоминая об отчем доме.

КОЛЫБЕЛЬ МОЯ

Недописанная глава

«Если есть во мне хоть капля обостренного чувства Родины, то этим чувством я обязан во многом родному селу, его природе, людям». *Эти слова, Сергея Федоровича Антонова, процитированные автором предисловия, — не пустая фраза. Сергей Федорович глубоко и преданно любил свою малую родину — село Мокрое, что в Калужской области. Он хотел написать его историю, собирал воспоминания о нем своих родных, разыскивал бывших односельчан и тоже «требовал» от них воспоминаний, переписывался с теми своими товарищами по школе, которые продолжали жить в родном селе. Рвался в архивы. К сожалению, болезнь не дала ему возможности сделать это. Сохранилась лишь толстая папка с надписью «Мокрое»... И все-таки хочется выполнить его заветное желание и из черновых записей, набросков, дневников, писем и воспоминаний родных и друзей «собрать» недописанную главу и хоть немного рассказать об этом примечательном, некогда глухом уголке нашей Родины* *.

Принято считать, *писал Сергей Федорович,* что провинция до революции — это глухомань, погрязшая в дремоте, а о деревне и говорить нечего: беспросветная нужда, беспробудное пьянство, тупость и невежество... Да, конечно, были и пьянство, и драки, и люди угорали в избах... Но была и другая сторона, о которой не следует забывать. Уклад сельской жизни диктовал свои

* Курсивом выделен текст публикатора К. А. Северовой.

законы: нужно уважать старшего, помогать друг другу в беде, здороваться с незнакомыми на улице (о знакомых и говорить нечего). Воспитывали всем селом. Если старший — кто бы он ни был! — говорил: «Не делай так!», ослушаться было немыслимо. Нагрубить старшему — с чем мы постоянно сталкиваемся в наши дни — об этом и помыслить было нельзя! И еще одно: не знаю, не помню случая — ни сам, ни по рассказам других, — чтобы из нашего села, из окрестных деревень одинокого старика или старуху отправили в богодельню, осиротевших детей — в приют. Кормили, помогали «всем миром», детей разбирали родственники или соседи: и при великой нужде не помочь сироте считалось великим грехом. А когда умирали дед или бабушка, ребенка подводили к гробу — проститься, а не отсылали, как часто случается ныне, великовозрастное дитятко, у которого иногда и усы уже пробиваются, во двор погонять мяч, чтобы, не дай бог, не соприкоснулось оно с горем. Не из этого ли потом произрастает равнодушие к близким, да и ко многому другому?..

...Село Мокрое — моя родина. Я провел в нем детство и отрочество, потом — так сложились обстоятельства — долгие годы не был в нем, но оно жило во мне, жило в моей памяти, в рассказах отца... А потом, через тридцать с лишним лет, новая встреча — радостная и грустная. Остатки «ничейного» сада за сохранившейся половиной дома, сада, который по сей день называют «антоновским», встреча со стариками — ровесниками моего отца, встреча с друзьями детства Валентином Васильевичем Полуяновым, в то время директором Мокровской школы, и Михаилом Ивановичем Кабановым, учителем истории, который, кстати, тоже разыскивает материалы по истории села... Во время войны село дважды переходило из рук в руки, было почти полностью уничтожено... Но остались стоять кирпичная двухэтажная школа и кирпичное же здание Кредитного товарищества, в котором теперь клуб, построенные еще моим дедушкой Григорием Ивановичем. Дай бог, чтобы после меня осталось столько, сколько после дедушки...

Федор Григорьевич Антонов, отец Сергея Федоровича, по его просьбе, писал в своих записках:

«Село Мокрое, «Полесье», как тогда называли глухое место в 85 верстах от уездного города, не ближе от других городов, в 50 верстах (не мереных) от ближайшей железнодорожной станции, — расположено было

на помещичьей земле и жили в нем безземельные крестьяне... Когда мы в 1886 году приехали туда с отцом Григорием Ивановичем, там было только тринадцать домов и пять домов духовенства на церковной земле за речкой <...> Край наш беден урожаем, земля плохая, да и не было ее у крестьян, а арендовать у помещиков дорого, не всяк мог, хлеба своего не хватало до нови, а потому все население занималось отхожим промыслом: ободники, санники, плотники, лесорубы и пр. и уходили в работу с масляной до рождества, а дома оставались одни женщины и старики из взрослого населения, они занимались огородами, у кого был...»

Прадед мой, Иван Антонович, *продолжал Сергей Федорович,* тоже был безземельным крестьянином и, чтобы кормить семью, занимался извозом. Дедушка Григорий Иванович, второй сын в семье, уехал в Бежицу, работал слесарем на паровозостроительном заводе... Когда старший его брат, в поисках лучшей доли, подался на Украину, дедушка с семьей вернулся в село. Так было принято: отчий дом не должен пустовать... В селе дедушка — по рассказам отца и в те стародавние времена и позже, уже на моей памяти — пользовался огромным уважением. До революции он много лет избирался на сходах церковным старостой, что свидетельствовало об уважении и доверии к нему. Он не пил, не курил, был религиозен. Не только я, но, думаю, и старшие никогда не слышали, чтобы он повысил голос. Помню, в нашем доме всегда кто-нибудь если не гостевал — из далеких деревень, — то заходил к дедушке со своей нуждой, за советом и помощью. В селе дедушка слыл умельцем. Возможно, тут сказалась его рабочая закалка... Он тоже вынужден был искать заработок, чтобы прокормить семью — девять душ детей, — но в отличие от большинства крестьян искал работу в селе. Огромную роль в его жизни и всей дальнейшей деятельности сыграла дружба со священником о. Александром (Беляевым), «живым воплощением человеческой добродетели», как вспоминал мой отец, (в отличие от о. Дмитрия, который «был человеком весьма грешным»), и доктором Павлом Дмитриевичем Борщовым. Эти два человека и, смею не без оснований добавить, дедушка Григорий Иванович стали главными «виновниками» того, что произошло потом в Мокром, что из глухого маленького села сделало его культурным центром округи, который стали называть «Второй Америкой» или просто «Америкой»...

Об о. Александре почти никаких сведений не сохранилось, о докторе Борщове Сергею Федоровичу любезно прислала материалы его дочь Надежда Павловна. Воспользоваться ими Сергей Федорович не успел, поэтому остается лишь привести отрывки из автобиографии П. Д. Борщова, хранящейся в Калужском областном архиве.

Павел Дмитриевич Борщов «родился в 1865 году в дер. Макаровка Калужской губ. <...> Сын безземельного крестьянина, служившего старостой у помещика <...> Первоначальное образование получил у дьячка — школ тогда в деревнях не было. Дьячку много обязан.

В гимназию попал случайно. Лесопромышленнику Егорову нужен был для сына <...> компаньон при учении в гимназии, и он выбрал меня <...> По смерти Егорова (я был тогда во втором классе) <...> я остался ни при чем. Тут помог помещик, приехавший из Москвы: он пообещал на мое обучение сто рублей в год <...> Я был отдан пасионером в Калужский земский сиротский дом с платой около 120 рублей в год на всем готовом. С третьего класса, стало быть, с 13 лет, стал я репетитором в сиротском доме для мало успевающих гимназистов первого — второго класса <...> Уроками я просуществовал до конца гимназии, работая с утра до поздней ночи, не требуя ничего от отца, но даже уделял ему кое-что из своих — грошевых — заработков от уроков. В университет я поехал с 60 рублями (из которых тотчас же по приезде израсходовал половину на одежду и обувь) и с несколькими рекомендательными письмами. По началу жил в угле, в сыром подвальном помещении, за какую-то баснословно дешевую плату, с не очень плохим столом <...> Вскоре нашел уроки <...> Готовил во второй класс реального училища славного мальчика Вову Никифорова (сына Л. П. Никифорова), впоследствии повешенного в Н. Новгороде за революционную работу. С третьего курса получал казенную стипендию — 300 рублей в год и уроки бросил. Об университете со стороны ученой и учебной сохранил самые хорошие воспоминания. В то время учили такие профессора как Филатов, Кожевников, Захарьин, Остроумов, Фохт, Эрисман. Медицинский факультет готовил в то время и научных врачей — с широким научным кругозором, — <...> и врачей-практиков для земской службы <...>

Место земского врача в Жиздринском уезде мне было обеспечено благодаря калужским знакомствам: надо было только выбрать между Мокрым и Маклаками. Я выбрал Мокрое...

Программа моя при поступлении на службу была очень коротенькая:

1) работать по возможности научно, 2) удовлетворять все требования и 3) относиться одинаково к больному, в особенности в чисто медицинском отношении. По первому пункту я, кажется, выполнял программу до конца службы, насколько это было возможно в таком захолустье, как Мокрое. По второму пункту <...> удовлетворял все требования по выездам к больным на дом бесплатно, хотя иногда народ и злоупотреблял этими требованиями <...> По третьему пункту, я лечил всегда одинаково, кто бы больной ни был, не принимая в расчет, что у «простых» людей — болезни простые и лекарства для них нужны простые, как это говорилось в царском врачебном уставе (т. XII, с. 3) <...>

По лечебной части в самых разнообразных областях я имел, кажется, порядочный успех и пользовался у народа, смею думать, большим уважением <...> Санитарные мероприятия пришли потом. Это очень трудное дело в деревне. Однако кое-что удалось сделать. В 1892 году, в ожидании холеры <...> провести устройство почти во всех деревнях общественных бадеек при колодцах. В Свиридовке этого не сделали — через несколько лет переболела в короткое время вся деревня брюшным тифом <...>

С 1905 года я начал предохранительные прививки против скарлатины по Габричевскому <...> С 1905 года по 1917 год включительно эпидемии скарлатины на участке не было <...>

В случае необходимости (появление брюшного тифа) мною применялся индийский способ дезинфекции колодцев с успехом. Кроме того, постоянная проповедь санитарных мероприятий в амбулатории, при выездах, при эпидемиях <...>

При многих эпидемиях была полная беспомощность. Корь зимой косила ребят — благодаря плохому уходу дома (в больницу помещать было некуда) и негигиеничности крестьянского жилья <...>

Мною был собран большой материал по болезненности в Мокровском участке в виде амбулаторных карточек и историй болезней коечных больных...»

В 1889 году, когда П. Д. Борщов приехал в Мокрое, там был лишь медицинский пункт. Павел Дмитриевич сразу же стал добиваться открытия больницы. И в 1892 году при активном его участии больница была построена. На свои средства он оборудовал при больнице лабораторию.

«Когда строительство больницы и хозяйственных помещений вокруг нее было закончено, *вспоминает Федор Григорьевич,* и все это обнесено решетчатою изгородью, врач П. Д. Борщов усердно принялся за озеленение территории и собственноручно, с помощью сторожа Карпа, насадил декоративных кустов вокруг больницы, а также дубы, липы и другие деревья на усадьбе и за оградой, целую рощу, и многие из деревьев живут до сего времени...»

«Работа Павла Дмитриевича в участке — это целая глава из истории земской медицины <...> — *писал в своей статье «Памяти врача П. Д. Борщова» его коллега доктор Ю. А. Вусович.* — Принимал он близкое участие в организации медицинского дела в Жиздринском уезде, где был членом медицинского совета <...> Им был открыт очаг проказы в уезде и указаны, с учетом местных условий, меры борьбы. В 1915 году он руководил устройством беженцев, проходивших через село Мокрое <...>»

Павел Дмитриевич занимался не только своими непосредственными обязанностями врача, круг его деятельности был значительно шире.

«Общественная работа моя, *продолжает он в автобиографии,* была невелика:

1) участие в открытии почтового отделения в с. Мокрое. Когда все условия со стороны местного населения и земства были выполнены, почти три года не открывали — видимо, боялись, что при почте народ поумнеет <...>

2) Был инициатором открытия почтового отделения в с. Будчино.

3) Содействовал открытию почтовых отделений в с. Закрутном и Дулеве.

4) Хлопотал об открытии телеграфа в с. Мокром <...>

5) Открыл, кажется, в 1894 году библиотеку-читальню при Мокровской больнице. Книг было до 600 т. Оригинально, что урядник Малышев (конечно, в порядке надзора) почти всю эту библиотеку бесплатно пере-

плел <...> С того же времени начала собираться и больничная медицинская библиотека.

6) Был инициатором открытия в с. Мокром двухклассного министерского училища <...>

7) Снабдил небольшими библиотечками (книжек 75—100) Шаровичскую, Хотожскую, Семиревскую и еще какую-то школу <...>

8) Был инициатором устройства в с. Будчине двухклассного образцового министерского училища. Собирал местные средства, хлопотал, наблюдал за постройкой. По открытии этого училища снабдил его небольшой библиотечкой, коллекцией открыток по географии и этнографии, коллекцией металлов, ископаемых и т. п., порядочным волшебным фонарем с картинками <...>

9) Хлопотал об открытии Мокровской пожарной дружины <...>

10) Все время я старался возможно лучше и больше обставить больницу мебелью, аптечными приборами и для будущего хирургическими инструментами.

Вот то немногое, что я делал. Может быть, делал бы и больше, если бы было время <...> Постоянным и очень ценным сотрудником моим во многих делах этих был покойный Григорий Иванович Антонов».

Ничего себе — немногое! Если к этому добавить, что Павел Дмитриевич занимался научной работой, писал и публиковал статьи в медицинские журналы, то можно себе представить подвижническую жизнь этого человека. Когда в 1909 году Павел Дмитриевич уезжал из Мокрого на лечение и неизвестно было, сможет ли он вернуться, ему преподнесли адрес, в котором, в частности, говорилось: «И шли к Вам непрерывным потоком недужные всякого пола и возраста, всякого звания и состояния. Шли с полною верою в Вашу врачебную мощь, с твердой надеждой на Ваши знания, Вашу опытность, Ваше внимание. Шли жители не только ближайших селений Вашего участка, но нередко и из далеких мест. Шли и... не обманывались...»

Павел Дмитриевич вернулся и проработал в Мокром до 1918 года, всего 29 лет.

С постройки больницы в Мокром, как писал доктор Борщов, «начался его расцвет как торгового села и культурного центрика».

Об этом же писал в своих воспоминаниях и Ф. Г. Антонов:

«С открытием больницы жизнь в селе стала ожив-

ляться, стала шумной. Из окрестных деревень, даже совсем дальних, приходили и приезжали крестьяне в больницу и амбулаторию, останавливались в домах на постой... Начала развиваться торговля. Но еще сильнее оживилась у нас жизнь с открытием второклассной учительской школы в 1896 году. В ней были 4-й, 5-й и 6-й классы, и в 4-й принимались окончившие трехлетний курс церковно-приходской школы, она существовала у нас с 1839 года. По окончании школы выпускники получали права учителя школы грамоты, которые тогда насаждались в поселениях... Я поступил в год открытия в 4-й класс, всего нас было 22 человека, большинство крестьянские дети. Специального помещения школы не было, и нам, первым ее ученикам, приходилось кочевать по разным помещениям. Так мы занимались: в церковной сторожке, на кухне у о. Александра Беляева и даже весной на столике у нас в саду...

В 1897 году пришло распоряжение земства строить здание для школы, прислана из Петербурга смета и план строительства и отпущены средства по смете — 10 800 рублей. И вот начались затруднения: подрядчики не берутся строить, так как сметная цена очень низкая, материалы расценены дешево, например, кирпич 6 руб. за тысячу, а нормальная цена на месте была 10 руб. Так как школа была ведомства церковного, о. Александр обратился к моему отцу, упрашивая его строить по указанному плану и смете. Отец считался по строительству специалистом, выполняя поручения земства по ремонту больницы, помогал строить там подсобные помещения, но за такую работу браться боялся, а в то же время хотелось, чтобы школа была построена в Мокром, а не переведена в другое место из-за этого, ведь он в своем семействе имел шесть мальчиков, которых хотелось учить, а отдавать в Жиздру денег нет, и он согласился... И вот надо приступать к строительству, — это было в 1897 году, — а где брать материалы, их на месте нет и возить издалека дорог тоже нет и дорого, а требуется одного кирпича 200 тысяч штук... Первым долгом на церковной земле на крутом берегу Мокряны построили тесовые навесы для производства кирпича и две печи для обжига — и началась работа... При закладке фундамента под здание было совершено торжественное богослужение и в жестяной коробке под левый угол здания была положена бумага-документ и несколько серебряных рублей от желающих, и все залито

цементом. За лето 1897 года вывели двухэтажное здание с двумя каменными лестницами внутри и одной — на чердак, выведена крыша и покрыта одиннадцатифунтовым оцинкованным железом <...> С наступлением весны работа возобновилась, началась штукатурка снаружи и внутри, настилали полы. Маляры красили крышу, олифу варили сами из конопляного масла, так как готовой у нас купить было негде <...> Итак, школу отстроили в 1898 году, приезжала комиссия из Калуги и архитектор-инженер из Петербурга, и было строительство принято с отличными оценками <...> Я окончил школу с первым выпуском, нас получилось пять человек <...>, а остальные «порастерялись», т. е. оставили школу из-за трудности учиться и работ по хозяйству дома...»

В архиве Сергея Федоровича сохранилась Калужская газета «Знамя», где в 1974 году, когда отмечалось 135-летие Мокровской школы, писали: «Примечательно, что основное двухэтажное кирпичное здание Мокровской школы было построено в 1898 году под руководством местного умельца Г. И. Антонова — деда известного советского писателя Сергея Федоровича Антонова, который учился в этой школе».

«С открытием второклассной школы, — *вспоминает отец Сергея Федоровича,* — у нас стала развиваться общественная жизнь, по инициативе священника о. Александра и учителей — их стало шесть — начали устраивать публичные чтения для народа. Делалось это так: каждое воскресенье в церкви служили вечерню, а после вечерни в школе открывались чтения и народ шел туда; много было крестьян из ближайших деревень. Чтения состояли из двух разделов: духовного и гражданско-литературного. Духовное читал о. Александр из священной истории, а вторую часть читали учителя: стихотворения, короткие повести, рассказы из Чехова, Тургенева, Толстого и др. и даже устраивали безобидные спектакли со сценой — «Бежин луг» и др. Публика охотно посещала, размещалась за партами учеников, даже мест не хватало. Чтения проводились постоянно, зимой и летом. Кроме того, ставились спектакли в пользу пожарной дружины... Ее организовал в 1899 году мой отец вместе с доктором Борщовым и помещиком Ивановым. Членов там было 20 человек из нашего села и еще из Дубровки двое. Дружину создали потому, что пожары в деревнях были настоящим бедствием, если загорался

один дом, то выгорала вся деревня. Особенно часто пожары случались осенью, когда сушили на овинах хлеба. Старостой дружины был мой отец, а дежурил — следил за пожарами — церковный сторож, он все равно всю ночь ходил с колотушкой по селу и каждый час отбивал на колокольне часы <...> Когда случался пожар, он прежде всего стучался к отцу, как старосте, а потом бил в набат, мы вскакивали, а по набату собирались дружинники, мы брали лошадь у о. Александра и у помещика Скворцова и мчались, а остальные бежали бегом кто как. И мы спасали, не давали сгореть деревням, как обычно случалось раньше, а горело всего несколько домов. А благодарность от населения нам всегда была одна: «Что же вы так долго ехали...», хотя мы неслись во всю ивановскую...

Дружина была вольная, поэтому денег мы никаких не получали, хотя мчались на пожар днем и ночью, бросая свои дела. Калужское земство отпустило нам инвентарь, и надо было думать о постройке сарая для его хранения. Мы стали зимой ставить любительские спектакли в пользу пожарной дружины, даже я участвовал («Трагик поневоле»), ставили несколько раз, собрали денег и весной построили хороший пожарный сарай...

В 1898 году началось строительство почтового тракта, потому что доктору Борщову и о. Александру удалось добиться открытия у нас почты... Тракт должен был вести на Песочню, расстояние 26 верст, то есть наполовину сократить путь к железной дороге. Вследствие этого у нас в Мокром начали строить мост через речку длиною в 20 сажень и к подъезду с обеих сторон сделали насыпи до полутора-двух сажень высотой, а по ним сделали мостовую из камня булыжника. Мост получился очень хороший, на 35 сваях, высокий. Руководил строительством мой отец Григорий Иванович. Через год начали проводить телеграфную линию. Все это строительство в селе привело к тому, что крестьяне перестали уходить на заработки на сторону — хватало работы в селе, и они оставались дома, со своими семьями, и могли заработать на хлеб. А в родных местах жить всегда лучше.

В это время в Мокром уже начало постоянно прибавляться население, стали расти новые дома, появились пекарня, бараночная, торговцы... Итак, Мокрое, несмотря на то, что находилось в глуши, постепенно вырастало не только количественно, но и культурно. С от-

крытием почты интеллигенция села стала выписывать газеты, журналы и книги. Какая же была мне радость бегать на почту и получать там «Ниву», как ни тяжело было отцу платить 7 рублей, но он все-таки согласился, ведь и сам был любитель читать. По вечерам были сборы у нас в столовой, оклеенной картинками из «Нивы». На столе самовар, баранки, и вся семья вокруг. Приходили доктор Павел Дмитриевич и о. Александр, учителя. У нас было много учителей передовых, которые несли культуру и прогресс в жизнь народа... Читали вслух, вели всякие умные разговоры...

В начале века у нас стали создаваться различные организации на кооперативных началах: Сельскохозяйственное общество, Потребительское общество, Кредитное товарищество. Кроме того, создали общество санитарного попечительства. При кредитном товариществе устроили кузнечно-слесарную мастерскую. Еще кредитное товарищество занималось лесоразработками, сырьевыми заготовками: грибы, ягоды и пр... Построили двухэтажное здание Кредитного товарищества (Народный дом), строил тоже мой отец, Григорий Иванович. В этом здании по воскресеньям проводились собрания, где выступали местные общественники, читали лекции, главным образом, по сельскому хозяйству: об удобрении земли, посеве клевера, земледельческих орудиях и проч. Плугов у нас не было, пахали сохами, и Товарищество купило их, организовало прокатный пункт: давало орудия в пользование крестьянам... Отец Александр создал Общество трезвости и при этом обществе открыли чайную. В кооперации зачинателем тоже был отец Александр, он всю свою жизнь посвятил ей, был избран председателем Потребительского общества, а отец Григорий Иванович был членом правления. Они все делали вместе. Кроме того, в правлении третьим был учитель Ефим Васильевич Фомин. Доктора Борщова в это время в Мокром не было, он уезжал на лечение <...>

Эта общественная деятельность дошла до Калуги, и к нам стали относиться со вниманием. Из Грибовки в Мокрое перевели волостное правление, и волость стала называться Мокровской».

Все это сыграло не последнюю роль в том, что в Мокром появилась и сельская библиотека. Вот как рассказывает об этом в статье «Сельская, народная...», опубликованной в районной газете «Путь Ильича» учитель-историк Мокровской школы Михаил Иванович Кабанов:

«Когда в 1909 году Жиздринской земской управе <...> было разрешено открыть новую библиотеку на территории уезда, то сразу стал вопрос: в каком населенном пункте ее открыть? Было внесено много предложений, шли споры, но в конце концов <...> уездное собрание постановило открыть библиотеку в селе Мокром. Как сообщили позже «Калужские губернские Ведомости» в № 8 от 1909 года «в чрезвычайном уездном собрании слушали доклад земской управы о выборе местности для народной библиотеки имени профессора А. И. Чупрова, причем собрание постановило открыть библиотеку в селе Мокром».

Таким образом открылась Мокровская библиотека как народная и бесплатная <...> Кто же такой был Александр Иванович Чупров? <...> А. И. Чупров является основоположником русской статистики, автором многочисленных работ по политэкономии <...>, членом Петербургской Академии Наук».

Сергей Федорович писал Валентину Васильевичу Полуянову, директору Мокровской школы:

«А вот кое-что еще из моих разысканий об А. И. Чупрове:

3 декабря 1895 года в колонном зале гостиницы «Эрмитаж» состоялся обед в честь профессора-экономиста А. И. Чупрова по случаю 25-летия его учено-литературной деятельности. (Это выписка из комментариев к 16-му тому Чехова.) Антон Павлович ценил и, видно, любил А. И. Чупрова. Он специально приезжал на этот юбилей из Мелихова. В письме к Суворину он писал: «Юбилей Чупрова прошел удивительно. В нем чествовали чистоту, и энтузиазм был всеобщий. Речи говорились вполне искренно, от всей души — ничего подобного я не слышал никогда раньше».

Библиотека существует до сих пор, а вот имя А. И. Чупрова она «стыдливо» потеряла в середине 20-х годов, в период так называемого «пролеткульта». Не пора ли восстановить его?»

И снова из записок Ф. Г. Антонова:

«В 1914 году по инициативе Общества санитарного попечительства Кредитное товарищество, при некоторой помощи Губернского земства, построило в центре села буровой колодец. Глубина скважины — 15 сажень. Руководил работами опять мой отец Григорий Иванович. Нигде на 50—75 верст вокруг не было такого культур-

ного водоснабжения и такого отношения к здоровью населения и санитарии. Все приезжавшие на базар в воскресные дни пили воду и хвалили: такая вода, мол, только в городах. При малейшей (редкой) неисправности приходил отец и удалял неисправность (бесплатно), и всегда, если насос закапризничал, шел к нему <...>

Заботились мы и о красоте села. В 1907 году в память открытия 1-й Государственной думы был насажен сквер, и население ходило туда по вечерам гулять. А еще раньше, сразу по приезде в Мокрое, мой отец арендовал у помещика гектар земли за 15, а потом за 25 руб. в год. И он с самого начала обратил внимание на огород, а потом и на садоводство. Добывал в лесу яблони-дички лет по 10 и пересаживал, а впоследствии уже покупал привитые, сажал смородину, ее таскали из болота. Так понемногу у нас образовался сад. Вместо изгороди он высадил по краям сливовые деревья. Глядя на него, стали сажать яблони и сливы соседи, у кого был клочок земли, и приходили к отцу за советом, как лучше делать, потому что он книжки по садоводству выписывал из Москвы...

После революции многое в селе изменилось. Кредитное товарищество и Потребительское общество объединили, и председателем стал учитель Ефим Васильевич Фомин, а когда его в 1918 году отозвали на ответственную работу в Калугу — я. В 1922 году мы создали Сельскохозяйственное товарищество, ведь крестьяне получили землю и надо было помочь им лучше обрабатывать ее и организовать их...»

О работе Товарищества писала в 1924 году газета «Брянский рабочий» (Мокрое в те годы перешло в Брянскую область); вот отрывки из этой заметки:

«Товарищество открыто 10 апреля 1922 года. Начало свою работу со средствами 30 пудов ржи и при десяти членах (по три пуда пай) <...> Главным образом было обращено внимание на снабжение членов и населения земледельческими орудиями, семенами и предметами потребления. Для этого была установлена связь с Людиновским заводом и Бытошевской трудовой артелью. Там и приобретали эти предметы за хлеб. На первое июля дела т-ва представляются в таком виде:

Членов — 320 человек <...> Товарищество ведет выработку обода, имеет производство кирпича до 200 000 штук за сезон. Кузнечно-слесарная мастерская работает для местного населения и т-ва. Ведутся фосфо-

ритные разработки, для чего заарендован участок земли с месторождением фосфорита. Члены т-ва сами копают его и доставляют на заарендованную мельницу.

Имеется при т-ве прокатный пункт, где население пользуется земледельческими и зерноочистительными машинами <...>

Все имущество т-ва оценивается в 15 000 рублей <...>

В планы т-ва на ближайшие годы входит: постройка плотины в с. Мокром, при мельнице, для электрификации <...>, имеется в виду картофелетерочное производство, открытие случного пункта.

В общем, т-во все намеченное до сего времени проводило в жизнь. *В 1927 году Сельскохозяйственное товарищество было распущено.*

На этом записи и воспоминания о селе Мокром, хранящиеся в архиве Сергея Федоровича, обрываются: глобальные перемены в селе вынудили его семью покинуть Мокрое, переехать в Карачев. Остается только добавить несколько слов о докторе Борщове. В 1918 году он переехал в гор. Калугу, где и работал до конца своих дней. Человек большой культуры, Павел Дмитриевич, как писал Ю. Вусович, «принимал участие в работах словарного отделения Института языка и мышления Всесоюзной академии наук. Им было собрано более 35 тысяч слов (с примерами), не вошедших в словарь <...> Даля. Эту работу он прекратил лишь за три дня до смерти. Материалы, собранные Павлом Дмитриевичем, вошли в несколько <...> выпусков словаря, и Академия неоднократно отмечала в предисловиях его участие и высказывала ему благодарность.

Умер Павел Дмитриевич Борщов в 1936 году.

Любопытно отметить и такой факт: в Калуге доктор Борщов пользовал Константина Эдуардовича Циолковского. Бюллетени о состоянии здоровья Циолковского во время его последней болезни, которые печатались в газетах, подписаны докторами Борщовым и Сироткиным. Между прочим, не исключено, что Борщов познакомился с Циолковским в Мокром. В письме к Сергею Федоровичу его двоюродная сестра Татьяна Николаевна Смирнова вспоминает:

«До революции бывал у нас в доме в Мокром Циолковский К. Э. с женой и дочкой. Они приезжали по воскресеньям из Судовища в гости к нам. И я его очень хорошо помню... Он сидел у нас в кресле в зале, и мой

отец говорил, что ему наше (детское) общество неинтересно, потому что он занят своими изобретениями, и ему наша интеллигенция собирала деньги на опыты, этим занимались мой отец Николай Петрович и дядя Федя, твой отец, и шел разговор о полете на луну, и мы, дети, ждали, когда же полетят на луну, а отец мне говорил: для того, чтобы полететь на луну, нужна машина, а она дорого стоит, денег столько нет <...>

Брат моего отца Павел Петрович, один из всех имевший по тем временам какое-то образование, кажется юридическое, жил в Судовищах. И вот он, будучи в Жиздре, женился на Жабиной Александре Андреевне, а Циолковский был женат на старшей сестре Полине Андреевне. И вот они-то и приезжали несколько раз в наши края. И всегда им собирали деньги...»

Это письмо написано Татьяной Николаевной из поселка Чкаловский, с улицы Циолковского, где она живет уже много лет, и одно время даже жила на одной лестничной площадке с Юрием Гагариным, первым человеком, полетевшим на «машине», правда, не на Луну, но в космос...

Сохранилась еще такая запись Сергея Федоровича:

Село Мокрое можно проскочить на машине за пять минут и не распознать, что это за село. Да и впрямь; что особенного: от церкви — некогда верного признака русского села — осталась груда поросших бурьяном кирпичей, дома раскиданы то там, то здесь, пруд, рощицы между домами. Больница на въезде, школа, магазин, клуб... Село как село... Теперь уже — большое... Но многие ли из живущих в нем знают, что было там, какие люди жили в нем? Сознание не мирится с мыслью, что пройдет еще десять, двадцать, тридцать лет — и не найдешь в селе человека, который смог бы рассказать об этом. Без конца повторяю чью-то, а может, родившуюся во мне фразу: «Лишь в памяти моей, лишь в памяти моей...»

Я пишу о Мокром не только потому, что это моя родина, но и потому, что оно — маленький уголок нашего необъятного Отечества, историю которого насыщают страницы истории его городов и весей...

СОДЕРЖАНИЕ

Антонов С. Ф.

А 72 Праотцы наши и старшие : Рассказы и заметки о памятных местах, о книгах, об автографах и о людях, которые заслуживают того, чтобы о них помнили. — М. : Мол. гвардия, 1988. — 175[1] с. ил.

ISBN 5-235-00102-8

Сборник рассказов о памятных местах нашей Родины, о воспитании молодого поколения в духе уважения к собственному прошлому.

Сборник иллюстрирован фотографиями из архива автора.

А $\frac{4701020100—050}{078(02)—88}$ 162—88 **ББК 84Р7**

ИБ № 5718

Сергей Федорович Антонов

ПРАОТЦЫ НАШИ И СТАРШИЕ

Редактор Е. Калмыкова
Художник С. Гераскевич
Художественный редактор К. Фадин
Технический редактор Р. Сиголаева
Корректоры Л. Четыркина, Н. Хасаия

Сдано в набор 03.09.87. Подписано в печать 07.01.88. А02904. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 9,24+1,68 вкл. Условн. кр.-отт. 11,34. Учетно-изд. л. 10,9. Тираж 75 000 экз. Цена 75 коп. Изд. № 1731. Заказ 8—36.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-00102-8

75 коп.

Издательство „Молодая гвардия"